



Кирилл В.
**ТЁМНОЕ
ЗЕРКАЛО. Книга
первая.
СВЯЩЕННЫЙ
ОБЕТ**

А. Ковалев

**ТЁМНОЕ ЗЕРКАЛО. Книга
первая. СВЯЩЕННЫЙ ОБЕТ**

«Автор»

2026

Ковалев А.

ТЁМНОЕ ЗЕРКАЛО. Книга первая. СВЯЩЕННЫЙ ОБЕТ /
А. Ковалев — «Автор», 2026

Смерть превращается из приговора в инженерную задачу. У задачи находится решение. Бывший офицер спецназа и физик Артём Ковалёв приходит в проект, чтобы строить дом для душ, переживших собственное тело. Он не знает, что строит зеркало. Проходят годы. Мир привыкает к бессмертию и незаметно перестаёт жить по-настоящему. А когда из глубин Солнечной системы приходит враг — безымянный, безжалостный, расчищающий дорогу к Земле, — человечество поднимается на свою последнюю войну, не догадываясь, чьи лица скрыты под бронёй атакующих. Артёму предстоит заглянуть в зеркало до самого дна. Узнать, кто такие Стёртые. И сделать выбор, которого не должно было быть: принять Священный Обет — встать на защиту живых после собственной смерти, зная всю правду. История о цене бессмертия, о любви, которую невозможно стереть, и о тёплой капле человеческого, способной однажды перерасти самую совершенную из машин.

© Ковалев А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

АКТ ПЕРВЫЙ. СЕМЕНА	5
Глава 1. Возвращение	6
Глава 2. Космос и кухня	10
Глава 3. Лаборатория	15
Глава 4. Микротрубочки	19
Глава 5. Призрак в машине	23
Глава 6. Доверие	27
Глава 7. Международный симпозиум	31
Глава 8. Эксперимент Орч-ОР	35
Глава 9. Тубулин	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

А. Ковалев
ТЁМНОЕ ЗЕРКАЛО. Книга
первая. СВЯЩЕННЫЙ ОБЕТ

АКТ ПЕРВЫЙ. СЕМЕНА

*«Каждое великое дерево начинается с семечка. Каждая революция — с тихого шёпота.
Каждое бессмертие — с принятия смертности. Мы думали, что строим лестницу к звёздам.
Мы не знали, что отливаем зеркало.»*

— из речи академика Б. Н. Фельдмана на открытии Станции «Импринт», 2032 год

Глава 1. Возвращение

Москва, февраль 2030 года

Артём Сергеевич Ковалёв в последний раз оглянулся на серые казармы, прежде чем шагнуть через контрольно-пропускной пункт.

Восемь лет. Восемь лет спецназа, спецопераций, ночных выбросов и бесконечных тренировок — и вот он снова гражданский. Тридцать два года, красный диплом МФТИ, оконченная офицерская школа, несколько наград, которые никогда не увидят света открытых архивов, — и полное непонимание, что делать с оставшейся жизнью.

Москва встретила его промозглой слякотью. Февраль выдался мерзким: снег таял под ногами, превращая тротуары в каток, а небо нависало низкой свинцовой пеленой, от которой хотелось спрятаться в тёплом помещении. Артём стоял у входа на станцию метро «Войковская» с тяжёлым армейским баулом за спиной и чувствовал себя пришельцем. Вокруг него спешили люди — в пальто, в наушниках, с телефонами в руках. Они смотрели на экраны, а не на небо. Они думали о встречах, дедлайнах, покупках. Они жили нормальной жизнью — той самой, которую он защищал восемь лет и которая теперь казалась ему чужой, непонятной, почти вымышленной.

Он спустился в метро. Станция изменилась — биометрические турникеты, голографические указатели, реклама, проецируемая прямо в воздух между колоннами. Он чувствовал себя человеком, выпавшим из времени. В последний раз он был здесь в две тысячи двадцать втором, перед самой службой. Тогда всё выглядело иначе. Проще. Медленнее.

Поезд пришёл бесшумно — электромагнитный, нового поколения. Артём сел у окна и смотрел, как в тоннелях мелькают огни. Он вспомнил последнюю операцию. Карельский перешеек. Минус двадцать, метель, группа из шестнадцати человек, тридцатикилограммовые рюкзаки и задача, которую никто не объяснял до конца. Три дня в заснеженном лесу, потом прорыв, стрельба, крики по рации. Они выполнили задачу. Потеряли двоих. Он получил очередную награду, которую не мог показать никому.

И теперь — вот. Метро. Слякоть. Гражданская жизнь.

Его квартира находилась в десяти минутах ходьбы от станции «Сходненская» — двушка в панельном доме девяностых годов, которую он сохранял все эти годы благодаря армейской надбавке на жильё. Дом встретил его запахом старой штукатурки, приправленным ароматом чужой жизни. Соседи сменились. Новые лица, новые привычки, новый ритм бытия, в который он должен был встроиться, как чужеродное тело, которое иммунная система ещё не решила, принять или отвергнуть.

Артём бросил баул в прихожей и прошёл на кухню. Комната была маленькой, с окном во двор. На столе лежала стопка писем — квитанции ЖКХ, реклама, приглашение на собеседование. Он перебрал их, не особо надеясь на что-то интересное, и замер.

Конверт с логотипом, который он узнал бы где угодно: две стрелы, устремлённые ввысь, обрамлённые золотыми лавровыми ветвями. «Роскосмос». Национальная корпорация, в которую он подал документы ещё за три месяца до увольнения, не веря в положительный ответ. Он вскрыл конверт ножом, и руки у него едва заметно дрожали.

«Приглашаем Артёма Сергеевича Ковалёва на собеседование на должность ведущего инженера-конструктора Отдела перспективных двигательных установок...»

Чайник вскипел — старый, ещё бабушкин, который каким-то чудом работал все эти годы. Артём налил кипятка в кружку с символикой МФТИ; она сохранилась с университетских времён, выцвела, потрескалась по краям, но держалась — упрямая, как всё, что было связано с тем периодом его жизни. Он сел за стол и снова прочитал письмо. Роскосмос. Инженер-конструктор. Отдел перспективных двигательных установок.

Он посмотрел в окно. Дети лепили из мокрого снега что-то неразличимое во дворе — смешные фигурки, похожие то ли на зайцев, то ли на космических пришельцев. Нормальная жизнь. Мирная жизнь. Он пытался представить себя в ней: в костюме, с портфелем, на совещаниях, с чертежами и расчётами. После восьми лет, когда каждый день мог быть последним, когда каждое решение могло стоить жизни, эта обыденность казалась одновременно раем и испытанием.

Тридцать два года. Для инженера — возраст расцвета. Для бойца спецназа — возраст, когда начинают думать о том, чтобы уйти, пока не стало слишком поздно. Он ушёл вовремя. Или нет? Восемь лет назад он окончил МФТИ по специальности «Физика и технология космических двигательных установок» — одной из тех узких специальностей, что готовят людей для работы на самой грани физики и инженерии. Топливные системы, реактивные двигатели, расчёты тяги, удельный импульс, термодинамика — всё это было его миром до армии. Потом пришёл другой мир. Мир ночи, лесов, гор, тайных переходов и мгновенных решений, от которых зависела жизнь. Мир, где не было времени на размышления, где интуиция ценилась выше расчётов, где доверие к товарищу было важнее доверия к цифрам.

Он закрыл глаза и увидел перед собой заснеженный лес. Услышал хруст снега под ботинками. Почувствовал холодный металл автомата в руках. Это было в прошлом. Теперь его задача — пройти собеседование в Роскосмосе и не выглядеть человеком, который слишком много видел, слишком много сделал, слишком много потерял.

На следующее утро Артём надел свой единственный костюм — тёмно-синий, купленный ещё до армии в каком-то забывчивом порыве. Сидел он теперь иначе: плечи стали шире от подтягиваний с грузом, талия ушла от постоянных нагрузок. Он посмотрел в зеркало. Короткая стрижка, ранняя седина на висках — как у отца, предвестник того, что ждёт через десятилетие. Лицо с резкими скулами и прямым носом, которое никогда не назовёшь открытым: слишком много в нём было сдержанности, слишком много невысказанного. Глаза серые, привыкшие видеть в темноте, привыкшие различать движение там, где другие видели только черноту. Он попытался улыбнуться — получилось хищно, неестественно. Ладно. Не будем улыбаться. На собеседовании вряд ли потребуется.

Путь на «Пионерскую» занял сорок минут — пересадка на «Белорусской», затем несколько остановок. Здание НПО на Ленинградском проспекте возвышалось серым монолитом: типичная советская архитектура позднего периода, обновлённая стеклянными вставками и биометрическими турникетами, которые, казалось, оценивающе сканировали каждого входящего. Артём прошёл проверку документов, получил временный пропуск посетителя и поднялся на седьмой этаж, где его ждала неизвестность.

Кабинет, в котором его принимали, напоминал скорее лабораторию, чем приёмную руководства. На стенах — схемы двигательных установок разных поколений, фотографии космических аппаратов от «Спутника» до современных орбитальных платформ, дипломы и грамоты в рамках, которым место было бы в музее. За столом сидел мужчина лет пятидесяти с лишним, с внимательными тёмными глазами и аккуратной седой бородкой, придававшей ему сходство с интеллигентом старой закалки.

— Артём Сергеевич, — он встал и протянул руку, твёрдую, с мозолями на пальцах, что удивило Артёма. Не чиновничья рука. — Алексей Петрович Воронцов, начальник отдела перспективных двигательных установок. Присаживайтесь.

Артём сел в кресло, которое оказалось удобнее, чем выглядело. Воронцов открыл папку — вероятно, его личное дело, которое успели изучить.

— МФТИ, физический факультет, специализация — физика и технология космических двигательных установок. Красный диплом, отличная дипломная работа. Потом... — Воронцов помолчал, пролистывая страницы, и его брови слегка приподнялись. — Потом восемь лет в армии. В спецназе ГРУ, если я правильно толкую эти... расплывчатые формулировки.

— Бывают обстоятельства.

— Да, бывают. — Воронцов посмотрел на него пристально, оценивающе, но без враждебности. — Знаете, что нас заинтересовало? Ваша дипломная работа. «Квантово-гравитационные эффекты в системах управления сверхмалых спутников». Вы писали её под профессором Соколовым. Он сейчас руководит одним из самых перспективных направлений в Курчатовском институте. Направление, связанное с... ну, скажем так, с нестандартными подходами к квантовому вычислению и их применением в нейробиологии.

Артём кивнул. Профессор Соколов — человек, который когда-то открыл ему дверь в мир, где физика становилась философией, а математика — поэзией.

— Мы запускаем новый проект, — продолжал Воронцов, выбирая слова с осторожностью, говорившей о секретности. — Международный. Под эгидой Роскосмоса, но с участием ЕКА, НАСА и китайской CNSA. Проект требует людей с нестандартным бэкграундом. Людей, которые понимают физику на глубоком уровне, но умеют действовать, когда всё идёт не по плану. Людей, которые не растеряются, когда расчёт расходится с реальностью.

— Какой проект?

Воронцов помолчал, потом достал с полки планшет и передал Артёму через стол.

— Вы слышали о гипотезе Орч-ОР? Оркестрованная объективная редукция. Пенроуз и Хамерофф. В тринадцатом году они представили обновлённую версию на конференции «Наука о сознании» в Бангалоре. Идея в том, что сознание связано с квантовыми процессами в микротрубочках нейронов. Что оно не является вычислением. Что это нечто более глубокое.

— Слышал, — кивнул Артём. — На МФТИ у нас был семинар. Тогда большинство считало это спекуляцией. Красивой, интригующей — но спекуляцией.

— Большинство считало, — согласился Воронцов. — Но сейчас тридцатый год. И ситуация кардинально изменилась. — Он кивнул на планшет. — Посмотрите. Это внутренний отчёт за последние пять лет.

На экране были графики, диаграммы, схемы — знакомые и незнакомые одновременно. Артём пролистал. Увидел термины, которые знал: «квантовая когерентность», «микротрубочки», «тубулин», «квантовая гравитация». И то, с чем сталкивался впервые: «импринтинг сознания», «кремниевый перенос», «квантовое клонирование личности».

— Проект «Импринт», — сказал Воронцов, и в его голосе зазвучала гордость, смешанная с тревогой. — Нам нужны инженеры, которые смогут работать на стыке квантовой физики, нейробиологии и космических систем. Люди, способные мыслить широко и действовать точно. Вы нам подходите идеально. Если согласны — начинаете с понедельника.

Артём посмотрел на графики, потом на Воронцова. Восемь лет назад он смотрел в прицел и решал, жить или умереть человеку в перекрестье. Сейчас он смотрел в глаза человеку, который предлагал ему построить мост между мирами — биологическим и кремниевым, смертным и бессмертным. Тогда он ещё не знал, что мост этот будет вести не туда, куда обещали чертежи.

— Я согласен.

— Отлично. — Воронцов улыбнулся искренне, с облегчением. — И ещё кое-что, Артём Сергеевич. Этот проект — не просто научное исследование. У него есть... геополитическое измерение. Четыре года назад межзвёздный объект, который в каталогах значится как З1/ATLAS, покинул Солнечную систему. Мы думали — комета. Но кое-что после этого изменилось. Что именно — узнаете по мере допуска. Уровень будет повышаться постепенно. Добро пожаловать в Роскосмос, Артём Сергеевич. Мы вас ждали.

Артём вышел из здания уже в сумерках. Москва светилась огнями — новые светодиодные фонари, голографическая реклама, электромобили, бесшумно скользящие по мокрой мостовой, словно рыбы в аквариуме. Мир изменился за восемь лет — не революционно, но заметно. И он должен был измениться вместе с ним: адаптироваться, влиться, снова стать частью этого мира.

На телефон пришло сообщение. Он посмотрел — номер незнакомый, но текст заставил его замереть посреди Ленинградского проспекта, не обращая внимания ни на прохожих, ни на машины, ни на весь мир:

«Папа, мама сказала, что ты вернулся. Я хочу тебя увидеть. Ира.»

Дочь. Ей пять лет. Он видел её последний раз, когда ей был год, перед самым уходом в армию. Она ещё не ходила тогда, не говорила — только ползала и смеялась. Бывшая жена Катя сказала, что не будет ждать, что не подписывалась на эту жизнь, на эту неопределённость. Он не стал спорить — не потому что согласился, а потому что знал: ничего другого предложить не может. Спецназ требует полной преданности. Но сейчас, глядя на сообщение, он почувствовал то, чего не чувствовал годами, — страх. Не боевой, не оперативный, привычный, почти комфортный. Страх перед собственным ребёнком, который может его не узнать, не принять, не простить тех лет, что он отсутствовал.

Он написал ответ, выбирая каждое слово: *«Приезжай в субботу. Я приготовлю ужин.»*

Потом добавил: *«Я люблю тебя»* — и стёр. Слишком рано. Слишком тяжело. Они ещё не знают друг друга. Любовь не может быть односторонней заявкой; она должна вырасти, как всё ценное в этой жизни.

Вместо этого он написал: *«Буду очень рад тебя видеть»* — и отправил.

Артём пошёл к метро и впервые за много лет подумал о том, что жизнь может быть длиннее, чем очередная операция. Что есть вещи, ради которых стоит строить планы, а не просто выживать. Что завтра может быть лучше, чем вчера, — если приложить усилия.

Он ещё не знал, что через несколько лет вся Земля окажется в состоянии осады. Что человечество столкнётся с угрозой, от которой не спасут ни диплом МФТИ, ни спецназовская подготовка, ни все квантовые технологии мира. Что само понятие «жизнь» будет переосмыслено так радикально, как никогда за всю историю цивилизации. И что он сам — этот уставший, потерянный, надеющийся человек — окажется среди тех немногих, кто узнает, какой ценой это переосмысление куплено.

Но это было впереди. А пока — февральская слякоть, свет фонарей и ощущение, что что-то важное только начинается.

Глава 2. Космос и кухня

Москва, февраль — март 2030

Первые недели в Роскосмосе прошли в режиме информационной перегрузки, который Артём про себя сравнивал с первыми месяцами в спецназе, — когда мозг отказывается переваривать новый объём данных, и ты функционируешь на автоматизме, на рефлексах, на чистой воле. Только теперь вместо нормативов по стрельбе и тактике были термодинамика, газовая динамика, теория реактивных двигателей, новейшие разработки в области ионных и плазменных установок. Всё это лежало в его голове слоистыми отложениями, законсервированное армией, и теперь выходило наружу, освежалось, перестраивалось — как велосипед, как плавание, как умение разобрать оружие в темноте.

Отдел перспективных двигательных установок занимал два этажа здания на Ленинградском проспекте — лабиринт коридоров, кабинетов, лабораторий, серверных. Тридцать семь человек — инженеры, физики, математики, химики — работали над двигателями, которые должны были вывести человечество за пределы околоземной орбиты: к Луне, к Марсу, к астероидам. Лунная программа набирала обороты, пилотируемый «Орёл» проходил испытания, перспективная лунная база обсуждалась уже на уровне правительства. Всё это требовало новых технологий. Химические ракеты устарели: слишком малый удельный импульс, слишком большой расход топлива. Ионные двигатели давали ничтожную тягу — хороши для коррекции орбиты, но не для межпланетного броска. Ядерные были перспективны, но пугали общественность одним своим названием. Нужен был прорыв. Или хотя бы шаг вперёд.

Артёму выделили кабинет — точнее, половину комнаты четыре на пять метров, которую он делил с коллегой. Владислав Игоревич Чернов, его сосед, оказался человеком, вызывавшим симпатию с первого взгляда: весельчак с огромными усами, к которым, по его собственному признанию, питал «особые чувства, близкие к отцовским», и с коллекцией фантиков от жвачки двадцатых годов, которую он гордо демонстрировал каждому новому знакомому, рассказывая историю каждого экземпляра.

— Артём Сергеевич, — сказал Чернов на третий день, когда они уже перешли на «ты», — ты реально был в спецназе? Не врешь? Не для понта?

— Не вру. Не для понта.

— И что, прямо стрелял? В реальных операциях?

— Иногда.

— В людей?

Артём посмотрел на него — не строго, а скорее с усталостью, с какой смотрят на ребёнка, задающего неуместные вопросы.

— Влад, давай о работе. О ракетах, о тягах, о КПД.

— Извини, извини. — Чернов поднял руки в примирительном жесте, но в глазах осталось любопытство. — Просто у нас тут все мягкотелые. Физики, теоретики. А тут приходит человек, который знает, как это — настоящий адреналин. Когда от твоего решения зависит чья-то жизнь. Когда нет права на ошибку.

— Не всегда приятно, — коротко ответил Артём. — Адреналин — он как соль. Немного — направляет жизнь. Много — отвлекает.

— Да? — Чернов задумался, впервые за три дня всерьёз. — А мне кажется, это лучше, чем сидеть над чертежами всю жизнь. Хотя... — он взглянул на схему ионного двигателя на мониторе. — Когда двигатель работает в первый раз, когда ты видишь, как твоя теория превращается в реальность, — это тоже адреналин. Только другой. Чище, может быть.

Артём кивнул. Он понимал, о чём тот говорит. Запуск ракеты — это тоже битва, только против физики, против инженерных ограничений, против вероятностей. И когда всё срабаты-

вает, когда цифры на бумаге превращаются в огонь, в дым, в полёт, — это победа не менее сладкая, чем любая другая. С той разницей, что после неё никого не приходится хоронить.

Проект «Импринт» пока существовал для него как слух за стеной — отдельная лаборатория, огороженная от основного здания барьером секретности, доступ к которой имели немногие: только с допуском, только по списку, только через биометрическую проверку. Артём не входил в их число. Пока. Но он уже понимал, что работа в отделе двигателей — лишь фасад, прикрытие для его настоящего назначения. Воронцов об этом намекнул и обещал подробности позже — «когда будет готова инфраструктура и когда поднимут ваш допуск».

В субботу должна была приехать дочь. Артём потратил всю пятницу на подготовку — вымыл полы, протёр пыль, которой накопилось за восемь лет забвения, закупил продукты. Не помня, что любит пятилетняя девочка, он купил всего понемногу: фрукты, йогурты, соки, печенье. Даже купил цветы. Не для Кати — она не приедет, она сказала это коротко, через сообщение: «Заберу её в восемь». Для Иры. Пять лет. Какой цветок нравится пятилетней девочке? Он купил ромашки — простые, похожие на те, что росли у бабушки в деревне, где он проводил каждое лето до армии.

Дверной звонок прозвучал ровно в пять. Артём открыл — и замер.

Катя изменилась. Семь лет, что прошли с их развода (а расстались они ещё до его ухода в армию, когда Ире был год, и Катя сказала, что не подписывалась на жизнь с призраком, который может не вернуться), — эти семь лет сделали её другой. Короткая стрижка, очки в тонкой оправе, строгое серое пальто. Она работала в IT-секторе, если он правильно помнил последние сводки от матери, которая всегда знала всё обо всех.

А рядом — маленькая фигурка в розовой куртке с блёстками, переливавшимися при каждом движении. Тёмные волосы, его волосы, собранные в два хвостика, торчащие в разные стороны с небрежной детской свободой. Большие серые глаза — его глаза, несомненно, с тем же прищуром, с той же привычкой внимательно смотреть, прежде чем решить, можно ли доверять. Она глядела на него с недоверием, прижимаясь к матери, как котёнок, который ещё не решил, опасен ли этот большой незнакомец.

— Ира, это папа, — сказала Катя тихо, почти шёпотом. — Помнишь, я показывала тебе фотографии? Говорила, что он далеко, но вернётся.

Девочка кивнула, но не сделала шага вперёд. Её маленькая рука сжала руку матери сильнее.

— Привет, — сказал Артём, стараясь говорить мягко, не грозно, не хищно. — Я приготовил ужин. Не знаю, что ты любишь, но постарался. И купил цветы. Ромашки.

— Я люблю ромашки, — тихо сказала Ира, и в её голосе зазвучало что-то похожее на интерес. — Мама тоже любит. Но она говорит, что они сорняки.

— Твоя мама практичная. — Артём улыбнулся, и на этот раз получилось почти естественно. — Но иногда сорняки красивее роз.

Катя взглянула на него — сложно, с чем-то похожим на жалость, смешанную с обидой, смягчённой временем. Они не обнялись, не пожали рук. Семь лет разлуки превратили их в чужих людей, связанных только общим ребёнком и общими воспоминаниями, которые уже покрылись пылью.

— У меня дела через два часа. Заеду за ней в восемь, — сказала Катя. Это была не просьба, а заявление.

— Хорошо. Мы тут... познакомимся.

Она ушла по лестнице, а Артём остался на пороге с дочерью, которая смотрела на него, как на незнакомца, вдруг оказавшегося родственником.

Два часа пролетели как одно мгновение. Оказалось, что Ира любит рисовать. Она принесла свой альбом — тяжёлый, с расклеенными страницами, — и показала ему работы. Космос. Ракеты. Звёзды. Планеты с кольцами, похожие на Сатурн. Солнце с улыбающимся лицом.

Артём показал ей на планшете фотографии настоящих космических аппаратов — «Восток», «Союз», «Салют», «Мир», МКС. Объяснил, как работают двигатели, как ракета набирает скорость, как орбита превращается в траекторию к другим мирам. Нарисовал схему ракеты на салфетке — топливные баки, двигательная установка, головной обтекатель, отсек экипажа.

— Папа, а ты летаешь в космос? — спросила она, и в её голосе звучало уже не просто любопытство, а надежда, что он окажется таким крутым, каким она его себе представила.

— Пока нет. Но я делаю двигатели для кораблей, которые туда летают. Это как... если бы ты пекла пирог. Ты не ешь его сама, но без тебя его бы не было.

— Это круто, — сказала она серьёзно, с детской непосредственностью, не терпящей полумер. — Миша говорит, что его папа бухгалтер. Это скучно. Он считает деньги. А ты делаешь ракеты.

Артём засмеялся — впервые за долгое время по-настоящему, от души, до боли в рёбрах. Этот смех был похож на тот, что он слышал от товарищей в зазоре между операциями, когда жизнь казалась достаточно длинной, чтобы позволить себе расслабиться.

— Не всем нравится бухгалтерия, — согласился он. — Но мир нуждается и в ней. Кто-то должен считать, чтобы мы знали, хватит ли денег на ракеты.

— А мне нравится считать, — она задумалась, морщась носом. — Папа, а ты надолго вернулся? Навсегда?

— Навсегда, — он посмотрел ей в глаза, и в его голосе зазвучало нечто похожее на клятву. — Точно.

— Точно? — Она посмотрела на него так пристально, что у него сжалось сердце. — Мама говорила, что ты ушёл. Что ты не вернёшься. Что так бывает.

— Мама ошибалась, — он опустился на колени, чтобы оказаться на уровне её глаз, чтобы она видела, что он говорит правду. — Я вернулся. И буду рядом. Каждую неделю. Ты сможешь приходить, когда захочешь. Я всегда буду здесь.

Она молчала, изучая его лицо, как будто оценивая, можно ли верить. Потом обняла его — быстро, неловко, но по-настоящему, всем своим маленьким телом, впиваясь пальцами в куртку. Артём закрыл глаза и подумал, что ради одного этого момента стоило вернуться. Ради этого стоило строить планы, мечтать о будущем, становиться нормальным человеком, а не боевой машиной.

Катя пришла вовремя — точно в восемь. Постояла в дверях, глядя, как Артём и Ира сидят на полу, окружённые рисунками и салфетками со схемами, и оба улыбаются.

— Тебе пора, малышка, — сказала она, и в её голосе зазвучало что-то мягкое, почти неузнаваемое.

— Мама, папа знает всё про космос! Он нарисовал мне ракету! Настоящую! — Ира подпрыгивала от восторга, и хвостики тряслись.

— Замечательно. — Катя улыбнулась — искренне, по-детски, так, как Артём помнил её в лучшие времена, до того как армия, разлука и обиды разъединили их. — Собирай вещи. Поехали.

Пока Ира складывала альбом, Катя подошла к Артёму.

— Спасибо. Она была счастлива. Я... давно её такой не видела.

— Я тоже. — Он помолчал, выбирая слова. — Катя, я хочу быть частью её жизни. Не иногда. Постоянно.

— Не надо клясть, — она подняла руку, но не грубо. — Прошлое — прошлое. Мы не будем мужем и женой, Артём. Это мост, который мы сожгли. Но мы можем быть родителями. Хорошими родителями. Для неё. Давай начнём сначала — с чистого листа.

— Я хочу этого, — он посмотрел ей в глаза. — Больше всего на свете.

— Тогда докажи. Не словами. Делами. Приходи, звони, будь рядом. Она будет рада. И я... я тоже.

Она ушла с дочерью, а Артём долго стоял у окна, глядя на улицу. Москва жила своей жизнью — машины, люди, огни, снег, уже начинавший таять под ногами. Нормальная жизнь. Жизнь, которую он выбрал. И теперь у него была причина не отступить, не сбежать, не спрятаться за очередной операцией.

На следующий день, в воскресенье, он позвонил матери. Лидия Павловна жила в Подмосковье, в дачном посёлке, который называла «деревней» с притворным презрением, хотя любила его больше всего на свете. Она вечно жаловалась, что он не звонит: «Артёмка, я уж думала, ты опять куда-то пропал, в свои горы, в свои леса».

— Мама, я работаю в Роскосмосе, — сказал он, и в трубке повисла тишина такой глубины, что он проверил, не оборвалась ли связь.

Потом раздался визг — восторженный, детский, совсем не подходящий женщине под семьдесят.

— Ты шутишь? Артёмка, не шути так! Роскосмос? Мой сын в Роскосмосе?! Я всем скажу! В клубе, в магазине, Володе Степановичу особенно — он вечно хвастается своим внуком из банка, а мой — из Роскосмоса!

— Мама, не кричи. Это секретный проект.

— А, секретный. — Она понизила голос до громкого шёпота, что выглядело комично. — Поняла. Никому не скажу. Только Володе Степановичу. И Нине Петровне. И...

— Мама...

— Шучу, шучу. — Она замолчала, потом добавила тише, серьезнее: — Артём, ты счастлив?

Он подумал — о дочери, о работе, о странном чувстве, что жизнь наконец обретает смысл, направление, цель.

— Да, мама. Впервые за долгое время.

— Тогда я спокойна. Приезжай в гости. Сделаю пельмени. Настоящие, ручной лепки. Помнишь, как ты любил?

— Обязательно приеду. Скоро.

Он повесил трубку и посмотрел на стол. Там лежали документы по проекту, которые ему разрешили взять домой под расписку, — первый, нижний уровень допуска. Проект «Импринт». Станция, которая должна была изменить всё. Он открыл папку и начал читать — медленно, вдумчиво, как читают книги, от которых зависит слишком многое.

Первые страницы были посвящены истории. В тринадцатом году сэр Роджер Пенроуз и доктор Стюарт Хамерофф представили на конференции в Бангалоре обновлённую версию своей гипотезы. Они утверждали, что сознание не является результатом чисто вычислительных процессов в нейронах, а связано с квантовыми эффектами в микротрубочках — структурных элементах клеточного скелета. Эти микротрубочки состоят из белка тубулина, и квантовые состояния в них, по мнению авторов, способны поддерживать когерентность достаточно долго, чтобы играть роль в когнитивных процессах.

Артём помнил тот семинар на МФТИ. Тогда большинство профессоров отнеслось скептически. «Декогеренция слишком быстрая», — говорили физики. «Слишком много спекуляций, недостаточно эксперимента», — добавляли биологи. Но несколько молодых исследователей, включая его научного руководителя профессора Соколова, увидели в этом перспективу. И, как теперь выяснялось, не ошиблись.

В двадцатом году Пенроуз получил Нобелевскую премию по физике — не за гипотезу Орч-ОР, а за работы по чёрным дырам, которые были фундаментом всего его мировоззрения. Но премия дала новый импульс исследованиям квантового сознания. К двадцать пятому эксперименты в Кембридже, Токио и ЦЕРНе продемонстрировали аномальные квантовые эффекты в биологических системах — не прямое доказательство, но намёки, тонкие нити, ведущие в неизвестность.

А потом пришёл 3I/ATLAS.

Артём прочитал раздел, посвящённый межзвёздному объекту, с замиранием сердца. 3I/ATLAS был открыт первого июля две тысячи двадцать пятого года телескопом обзора ATLAS в Чили — третий межзвёздный объект, пролетевший через Солнечную систему после 1I/Oumuamua в семнадцатом и 2I/Borisov в девятнадцатом. Но 3I/ATLAS был особенным. Необычайно высокая скорость — около пятидесяти восьми километров в секунду относительно Солнца, что делало его самым быстрым из трёх. Необычный состав — кома, богатая углекислым газом, высокое содержание дейтерия, никель почти без железа, что было загадкой для химиков. Траектория, прослеживаемая до толстого диска Галактики, — возможно, объекту больше семи миллиардов лет, он старше Солнечной системы.

Но самое интересное скрывалось в закрытом приложении, на которое указывала маленькая сноска: «Доступ по уровню». У Артёма был только нижний допуск, и приложение не открылось. На экране высветилось бесстрастное: «Недостаточно прав». Он перечитал сноску несколько раз. То, что было за этой строкой, явно стоило целого международного проекта. То, что было за этой строкой, явно пугало людей, которые строят проекты на десятилетия.

В марте две тысячи двадцать шестого года объект прошёл мимо Юпитера и покинул Солнечную систему, устремившись в межзвёздное пространство с той же скоростью, с какой пришёл. И человечество осталось с вопросами, на которые нужно было найти ответы — пока не стало слишком поздно.

Артём отложил планшет и посмотрел на часы. Полночь. Завтра в семь — планёрка в отделе, потом встреча с группой квантовой когерентности, потом, обещал Воронцов, наконец-то — лаборатория «Импринт».

Он лёг, но долго не мог уснуть. В голове вертелись мысли о квантовых кубитах, микротрубочках, межзвёздных объектах — и о маленькой девочке с хвостиками, которая рисовала ракеты и верила, что её папа знает всё про космос. Жизнь, которую он представлял ещё вчера, — скучная рутина госслужащего, бюрократические инструкции, пенсионный фонд — развеялась, как дым от костра. Впереди было нечто гораздо большее, глубже, опаснее. И он был в самом центре этого «нечто» — не потому что искал, а потому что наука, судьба и его собственные выборы привели его сюда.

Глава 3. Лаборатория

Москва — наукоград, март 2030

Лаборатория проекта «Импринт» располагалась не в центральном здании на Ленинградском проспекте, а в особом комплексе в наукограде под Москвой — на территории с пропускным режимом, где жили совместные проекты с Курчатовским институтом, ИКИ РАН и рядом закрытых предприятий, о существовании которых публично не знали даже многие специалисты. Артём приехал туда в среду, рано утром, когда небо ещё держало ночную темноту, а фонари освещали обочины мягким оранжевым светом. Его везли на служебном автомобиле с тонированными стёклами; молчаливый водитель в чёрной куртке провёл машину через три контрольно-пропускных пункта, каждый раз предъявляя разные документы.

За последним КПП дорога нырнула в сосновый лес. Снег здесь лежал нетронутый, синеватый в свете фар, и Артём вдруг остро вспомнил Карелию — ту же тишину, ту же чистоту, то же ощущение, что цивилизация осталась где-то за спиной. Только там за деревьями могла прятаться смерть, а здесь — будущее. Он ещё не знал, что разница между ними окажется куда меньше, чем он думал.

Корпус «Импринта» был врыт в землю. Над поверхностью торчало лишь приземистое бетонное здание без окон, похожее на трансформаторную будку-переростка; всё остальное уходило вниз, на семь этажей, в вечную тишину и постоянную температуру. Артёма встретил человек в белом халате поверх свитера — невысокий, плотный, с копной седых волос и живыми, чуть навыкате глазами, которые, казалось, видели одновременно собеседника и какую-то далёкую, видимую только ему точку.

— Академик Фельдман, — представился он, крепко пожимая руку. — Борис Натанович. А вы — тот самый инженер-конструктор, которого мне сосватал Воронцов. С двигателями и... биографией.

— С биографией, — сдержанно подтвердил Артём.

— Не оправдывайтесь. — Фельдман махнул рукой. — Здесь у всех биография. У одного развод, у другого диссертация двадцать лет в столе, у третьего — война. — Он посмотрел на Артёма прямо, без тени осуждения. — Знаете, что я думаю про людей, которые видели смерть вблизи? Они лучше понимают, что мы тут делаем. Те, кто никогда не терял, относятся к бессмертию как к новой модели телефона. А вы будете относиться к нему серьёзно. Пойдёмте. Я покажу вам сердце.

Они спускались на лифте долго — счётчик этажей сменялся неторопливо, и каждый раз менялось давление в ушах. На минус седьмом двери открылись, и Артём увидел зал.

Он был огромным — куб со стороной метров в тридцать, погружённый в полумрак, в котором холодно мерцали приборные панели. В центре зала, окружённая лесами обслуживания, висела конструкция, при виде которой у Артёма перехватило дыхание. Она напоминала одновременно собор и нервную клетку. От центрального ядра — матового, прозрачно-голубого, размером с легковую машину — во все стороны расходились тысячи тончайших волокон, ветвящихся, как дендриты, как корни, как трещины на льду. Всё это было погружено в сосуд с прозрачной жидкостью, и в этой жидкости медленно, едва заметно пульсировал свет, пробегая по волокнам короткими вспышками, словно кто-то невидимый думал и эти вспышки были его мыслями.

— Это и есть Станция, — тихо сказал Фельдман. — Точнее, её прототип. Первая Станция импринтинга. Мы зовём её просто — «Импринт». Хотя девочки из лаборатории прозвали её «Зеркалом». Прижилось.

— Зеркало, — повторил Артём.

— Потому что она отражает. — Фельдман подошёл к ограждению лесов, и свет приборов лёг на его лицо снизу, делая его похожим на маску. — Понимаете, классический искусственный интеллект провалился. Окончательно, бесповоротно, с грохотом, которого, правда, никто не услышал, потому что маркетологам было невыгодно об этом кричать. Двадцать лет нам обещали сильный ИИ. И двадцать лет мы получали машины, которые идеально симулировали человека. Они отвечали так, как ответил бы человек. Они утешали так, как утешил бы человек. Они даже шутили. Но за этим не было никого. Понимаете? Никого. Пустой дом с включённым светом. Идеальный алгоритмический автомат без понимания, без интуиции, без — простите за ненаучное слово — без души.

— Я пользовался такими, — кивнул Артём. — В армии были тактические советчики. Умные. Но я бы не доверил им принять решение, от которого зависит жизнь людей.

— Вот! — Фельдман ткнул в него пальцем с почти детской радостью. — Вы это чувствовали. Вы не могли объяснить, но чувствовали — там никого нет. А мы не чувствовали, мы измеряли. И измерили. Сознание не вычисляется, Артём Сергеевич. Это не программа. Пенроуз с Хамероффом были правы, над ними тридцать лет смеялись — и они были правы. Сознание рождается там, где квантовая когерентность встречается с гравитацией. В микротрубочках. В тех самых трубочках из тубулина, которые держат форму каждой вашей нервной клетки. Объективная редукция волновой функции, управляемая структурой самого пространства-времени. Не симуляция мысли. Сама мысль.

Он повернулся к ядру.

— И тогда мы перестали строить компьютер, который думает как человек. Мы построили компьютер, который думает тем же способом, что и человек. Не из кремния и логических вентилях. Из искусственного тубулина. Синтетического белка, в котором квантовая когерентность держится не миллисекунды, как в тёплом мокром мозге, а часами. Замкнутый квантово-гравитационный биокомпьютер. Он не симулирует сознание. Он создаёт для сознания дом. Пустой, ждущий. И если в этот дом въедет правильный жилец...

— Жилец, — медленно сказал Артём. — Вы говорите о человеке.

— Я говорю о матрице. — Фельдман понизил голос, хотя в зале они были одни, если не считать двух техников у дальней стены. — Станция умеет улавливать фрактальные частоты живого мозга. Тот неповторимый узор, по которому в ваших микротрубочках бегут квантовые состояния. Этот узор и есть вы. Не воспоминания — воспоминания вторичны. Сам способ, которым вы существуете. Мы научились снимать этот узор и проецировать его на твердотельные кубиты ядра. И в какой-то момент... — он сделал паузу, и в этой паузе было что-то от страха и от молитвы одновременно, — ... в какой-то момент дом перестаёт быть пустым. Кто-то в нём просыпается.

— И этот кто-то — он? Тот же человек?

— А вот это, — сказал Фельдман, и тень легла на его лицо, — это вопрос, на который у меня нет честного ответа. И я думаю, что у меня его никогда не будет. Может быть, у вас будет.

Они помолчали. Где-то в глубине ядра пробежала очередная вспышка света.

— Зачем вам инженер-двигателю? — спросил наконец Артём. — Здесь физики, нейробиологи, программисты. Я-то вам зачем?

— Потому что эта штука, — Фельдман кивнул на Станцию, — рано или поздно полетит в космос. И не одна. Их будут сотни. Тысячи. Они должны выдерживать перегрузки, радиацию, абсолютный холод и адскую жару, годы автономной работы вдали от любой помощи. Это уже не лаборатория. Это космический аппарат, в котором живёт сознание. И мне нужен человек, который понимает и физику сознания, и физику полёта. Таких в мире — единицы. Вы — один из них. — Он усмехнулся. — Плюс, признаюсь честно, мне симпатичны люди, которые умеют молчать. У нас тут болтают слишком много.

В этот момент за их спинами раздались шаги, и женский голос произнёс:

— Борис Натанович, вы опять пугаете новичков философией вместо инструктажа по технике безопасности?

Артём обернулся.

Женщина была в таком же белом халате, с планшетом в руках, с волосами, собранными в небрежный узел, из которого выбивались светлые пряди. Лет под сорок, может, чуть меньше. Лицо умное, усталое, с тонкими морщинками у глаз — морщинками человека, который много думает и редко спит. И взгляд — внимательный, оценивающий, чуть ироничный, тот самый взгляд, которым она, как он узнает позже, изучала и людей, и квантовые аномалии с одинаковой добросовестностью.

— Елена Дмитриевна Соколова, — представил Фельдман. — Наш ведущий нейрофизик. И, между прочим, дочь вашего научного руководителя.

— Соколова? — Артём не сумел скрыть удивления. — Профессор Соколов — ваш...

— Отец, — кивнула она, и в углах её губ мелькнула усмешка. — Да. Та самая фамилия. Не пугайтесь, протекции не было — он меня, наоборот, отговаривал. Считал, что я недостаточно безумна для этой работы. — Она протянула руку, и рукопожатие было сухим и крепким. — Так вы тот самый Ковалёв, чью дипломную он до сих пор поминает на лекциях? «Вот был студент, который понимал, что квантовая гравитация — это не магия, а инженерия». Я её читала. Хорошая работа. Слишком хорошая для двадцатидвухлетнего.

— Это было давно, — сказал Артём.

— Это было вовремя. — Она смотрела на него с непонятным выражением. — То, что вы тогда написали про управление когерентностью в малых системах, мы сейчас используем здесь. Каждый день. Так что, можно сказать, вы уже восемь лет работаете в этом проекте, просто не знали.

Что-то в её словах кольнуло Артёма — ощущение, будто прошлое, которое он считал отрезанным, на самом деле вело прямую линию к этому подземному залу, к этому светящемуся ядру, к этой женщине. Будто все восемь лет в лесах и горах были не отклонением, а долгим обходным путём к месту, которое его всё равно ждало.

— Я проведу инструктаж, — сказала Елена Фельдману. — А вы идите спасать мир философией где-нибудь ещё.

— Грубиянка, — с нежностью сказал академик и ушёл, насвистывая что-то старомодное.

Елена показала Артёму лабораторию — этаж за этажом, систему за системой. Криогенные контуры, которые держали ядро в нужном состоянии. Сканирующие комплексы, которые снимали матрицу с живого мозга, — огромные кольца квантовых томографов, в которых человек лежал часами, пока миллиарды датчиков считывали узор его сознания. Серверные, где хранились снятые, но ещё не активированные матрицы — застывшие, спящие, ждущие. Артём смотрел на ряды криостатов и думал, что это похоже на морг и на роддом одновременно.

— Сколько матриц вы уже сняли? — спросил он.

— Сорок две. — Елена остановилась у одного из криостатов, и её лицо в холодном свете стало серьёзным. — Все — у добровольцев. В основном тяжелобольные. Те, кому медицина уже ничего не может предложить. Они приходят к нам не из любопытства, а потому что им нечего терять. Мы снимаем матрицу. Аккуратно, безболезненно. И храним. Ждём.

— Чего ждёте?

Она помолчала, и Артём почувствовал, что подошёл к самому краю чего-то важного.

— Этого вам пока знать не положено, — наконец сказала она. — Допуск. Но скоро. Воронцов сказал, вас поднимут на второй уровень в течение месяца. — Она посмотрела на него прямо. — Я скажу только одно, Артём Сергеевич. Это не то, что показывают в фильмах. Тут нет кнопки «загрузить сознание» и счастливого бессмертия. Тут есть правила. Жёсткие, странные, иногда жестокие правила, которые мы не придумали — мы их открыли. Как открывают законы природы. И они нам не нравятся. Но природе всё равно, нравятся они нам или нет.

— Что за правила?

— Скоро. — Она убрала прядь со лба. — Пойдёмте, я покажу вам ваш кабинет. И, если хотите, могу рассказать про двигательную секцию — это ближе к вашей теме. Мы только начали проектировать первый автономный носитель. Я в этом полный профан, и мне нужен человек, который объяснит мне разницу между удельным импульсом и моим невежеством.

Артём впервые за день улыбнулся — не хищно, а просто.

— Это я могу.

Они проработали до позднего вечера. Елена оказалась собеседником редкого склада: она схватывала инженерные идеи на лету, не боялась признавать, чего не знает, и задавала вопросы, от которых Артёму приходилось останавливаться и думать заново. Когда они наконец поднялись на поверхность, лес уже утонул в темноте, и над соснами висели звёзды — крупные, чистые, какие не увидишь в городе.

— Красиво, — сказала Елена, запрокинув голову. — Знаете, что самое странное в нашей работе? Мы все смотрим на эти звёзды и думаем: вот туда мы хотим. Туда мы понесём человека. Но человек туда не доберётся. Биология не выдержит. Кости, кровь, сердце — всё это рассчитано на одну планету, на одну гравитацию, на семьдесят-восемьдесят лет. Космос убьёт нас за час без скафандра. За месяцы — с ним. Мы цветы, которые мечтают перелететь океан.

— И что, «Импринт» — это способ перелететь?

Она долго молчала, глядя в небо.

— Я иногда думаю, — сказала она тихо, — что это способ умереть так, чтобы это было не зря.

Артём не нашёлся, что ответить. Они стояли рядом в синем снегу под звёздами, два чужих пока человека, и между ними уже протянулась первая тонкая нить — такая же тонкая, как волокна тубулина в светящемся ядре под их ногами.

По дороге домой, в служебной машине с тонированными стёклами, Артём смотрел на проносящиеся огни и думал о словах Елены. *Способ умереть так, чтобы это было не зря.* В армии он знал людей, которые умирали — иногда зря, иногда не зря, и почти никогда не успевали узнать, как именно. Здесь, под землёй, в холодном свете, люди пытались отнять у смерти право быть последним словом. Он не знал ещё, аплодировать этому или ужасаться. И не подозревал, что очень скоро ему придётся выбирать — и что выбор окажется куда тяжелее, чем казалось этой звёздной мартовской ночью.

Дома он застал сообщение от Иры. Фотография: кривоватая ракета, нарисованная фломастерами, и подпись печатными буквами, явно с маминой помощью: «ПАПИНА РАКЕТА. ЛЕТИТ К ЗВЁЗДАМ».

Артём долго смотрел на неё. Потом сохранил, поставил на заставку телефона и впервые за восемь лет уснул без сна о Карелии.

Глава 4. Микротрубочки

Москва — наукоград, апрель 2030

Профессор Соколов почти не изменился за восемь лет. Та же сухая, прямая фигура, та же привычка говорить, расхаживая по комнате и рубя воздух ладонью, та же манера смотреть поверх очков, будто проверяя, успевают ли собеседник за полётом его мысли. Только волос стало меньше, а в голосе — больше усталости, которую он маскировал раздражительностью.

— Ковалёв! — Он встретил Артёма в дверях своего кабинета в Курчатовском институте так, будто они расстались вчера. — Восемь лет! Восемь лет, чтобы понять, что физика лучше, чем стрельба. Я тебе это говорил ещё на четвёртом курсе. Садись. Чаю не предлагаю, у меня тут не салон. Что хочешь знать?

— Всё, — честно сказал Артём. — Допуск подняли. Елена Дмитриевна сказала, вы лучше всех объясните теорию.

При имени дочери лицо Соколова на миг смягчилось, а потом снова стало деловым.

— Лена тебя направила. Хорошо. Значит, ты ей не противен, а это уже немало — она людей не жалует. — Он сел напротив, сцепил пальцы. — Слушай внимательно, потому что повторять не буду, а от того, поймёшь ты это или нет, зависит, будешь ли ты в проекте инженером или мебелью.

Он встал и подошёл к доске — настоящей, меловой, в эпоху голографических экранов это было почти вызывающе.

— Что такое мысль? — Он нарисовал кружок. — Сто лет нам говорили: мысль — это электрический импульс. Нейрон возбуждается, передаёт сигнал другому нейрону, тот третьему, и где-то в этой паутине из восьмидесяти миллиардов клеток возникает «я». Красиво. Удобно. И, как выяснилось, неверно. Точнее, неполно. — Он перечеркнул кружок. — Потому что если мысль — это просто переключение сигналов, то её можно вычислить. А раз можно вычислить — значит, можно построить машину, которая будет думать. Мы строили такие машины семьдесят лет. И что получили?

— Симуляцию, — сказал Артём.

— Зомби! — рявкнул Соколов с неожиданной страстью. — Философский зомби, понимаешь? Машину, которая ведёт себя как сознательное существо, отвечает как сознательное существо, но внутри — пусто. Никого нет дома. Свет горит, хозяина нет. И знаешь, почему? Потому что вычисление — это вычисление. Ты можешь сложить два и два хоть на счётах, хоть на суперкомпьютере, хоть в голове — результат один, четыре, но в самих счётах никто не «понимает», что такое четыре. Понимание — это не вычисление. Это что-то другое.

Он нарисовал на доске длинный цилиндр, испещрённый спиральями.

— Микротрубочка. Из белка тубулина. Их триллионы в каждом нейроне, они держат форму клетки, как арматура держит бетон. Долго считалось, что это просто скелет. Строительные леса. А Пенроуз с Хамероффом сказали: нет. Это не леса. Это процессор. Внутри каждой трубочки тубулин может находиться в квантовой суперпозиции — сразу в двух состояниях. И вот пока эта суперпозиция держится, пока волновая функция не схлопнулась, — нет ещё ни мысли, ни решения, есть только облако возможностей. А потом происходит редукция. Схлопывание. И вот в это мгновение, в момент схлопывания, рождается момент сознания. Квант опыта. Понимаешь? Не сигнал между нейронами, а событие внутри них. Тысячи таких событий в секунду — и вот тебе поток сознания.

— И что заставляет волновую функцию схлопнуться? — спросил Артём. Это был старый, нерешённый вопрос квантовой механики, и он помнил, как над ним билось не одно поколение.

Соколов улыбнулся — впервые за разговор.

— Вот за это «что» Пенроузу и надо было дать Нобеля. Он сказал: гравитация. Сама структура пространства-времени. Когда суперпозиция масс становится достаточно большой, пространство-время не может больше «держаться» обе версии реальности одновременно, и происходит объективная редукция — не потому что кто-то посмотрел, не потому что прибор измерил, а потому что так устроена вселенная на самом глубоком уровне. Оркестрованная объективная редукция. Орч-ОР. Сознание — это место, где разум напрямую касается геометрии пространства-времени. Не метафорически. Физически.

Артём почувствовал, как по спине пробежал холодок — не от страха, а от того особого восторга, который испытываешь, заглядывая в бездну фундаментального.

— То есть, — медленно проговорил он, — наши мысли в буквальном смысле меняют форму пространства-времени? На микроскопическом уровне?

— На планковском уровне. На уровне, где сама ткань реальности зерниста. — Соколов сел, словно устав от собственной мысли. — И знаешь, что из этого следует? Если сознание — это узор квантовых редукций в микротрубочках, то этот узор можно, в принципе, воспроизвести. Не симулировать — воспроизвести. Создать другую физическую систему, в которой те же квантово-гравитационные события будут происходить в том же узоре. И тогда...

— И тогда в ней проснётся то же сознание, — закончил Артём.

— То же или не то же — вот в чём дьявол. — Соколов снял очки, потёр переносицу. — Об этом мы с Леной спорим до хрипоты. Я физик, для меня узор — это всё. Если узор тот же, человек тот же, точка. А Лена — она нейрофизик, она ближе к живому. Она говорит: а если проснётся копия, которая думает, что она — это ты, а ты тем временем лежишь в гробу? Тогда мы построили не бессмертие, а самую жестокую иллюзию в истории. Машину, которая утешает мёртвых тем, что делает их живые портреты.

В кабинете повисла тишина. За окном по-весеннему ярко светило солнце, капало с крыш, кричали какие-то птицы — мир был полон жизни, ничего не знающей о квантовой гравитации.

— А вы как думаете на самом деле? — тихо спросил Артём. — Не как физик. Как человек.

Соколов долго молчал.

— Я думаю, — сказал он наконец, — что мне семьдесят один год. Что у меня барахлит сердце и я не очень-то верю, что протяну ещё десять лет. И что когда мне предложат лечь в этот сканер и оставить после себя кремниевого Соколова, который будет читать лекции, спорить с Леной и помнить, как меня в детстве укусила соседская собака, — я не знаю, соглашусь ли. Потому что либо это буду я — и тогда я трус, если откажусь. Либо это буду не я — и тогда я предатель собственной смерти, если соглашусь. И я не знаю, какой из двух вариантов страшнее. — Он надел очки. — Вот тебе вся теория, Ковалёв. Остальное — детали. Хочешь — приходи, дам литературу. Только Лену береги. Она в этот проект вложила больше, чем здоровье. Она в него вложила надежду. А с надеждой, знаешь, опаснее всего работать. Её легче всего обмануть.

Артём вышел из института в странном состоянии — будто заглянул в колодец и не увидел дна. По дороге он думал не о физике, а о двух Соколовых: о том, что трус, если откажется, и о том, что предатель, если согласится. И о Елене, которая вложила в проект надежду.

В лаборатории его уже ждали. На втором уровне допуска ему наконец открыли часть закрытых материалов — и первое, что он узнал, перевернуло его представление обо всём, что он думал понять.

Сорок две снятые матрицы лежали в криостатах не просто так. И активировать их при жизни доноров было запрещено. Категорически. Под подписку, под уголовную ответственность, под страх, который сквозил даже в сухих строках протокола.

Он нашёл Елену в её кабинете — она сидела перед тремя экранами, на которых ползли графики когерентности, и пила холодный кофе.

— Я прочитал протокол активации, — сказал он, садясь напротив. — Точнее, протокол запрета на активацию. Объясните. Почему нельзя разбудить кремниевого, пока его донор жив?

Елена отставила кофе и посмотрела на него долгим взглядом.

— Потому что их не может быть двоих, — сказала она. — Одновременно. Либо живёт биологический оригинал, либо живёт кремниевая версия. Не оба.

— Технически? Не хватает ядер?

— Физически. — Она повернула к нему один из экранов. — Это не вопрос ресурсов, Артём. Это вопрос природы. Узор сознания — это не файл, который можно скопировать сколько угодно раз. Это... как бы объяснить. Представьте натянутую струну. Если вы дёрнете её здесь, она звучит. Если попытаетесь заставить её звучать одновременно в двух местах одну и ту же ноту — она глушит сама себя. Получается шум. Сознание — это нота, которую пространство-время согласно держать только в одном экземпляре. Снять матрицу можно. Хранить — можно, она спит, она молчит. Но если разбудить кремниевую копию, пока бьётся живое сердце... — она запнулась. — Мы пробовали. Один раз. На самом раннем этапе, ещё до меня. С добровольцем, который был жив и здоров. Хотели доказать, что копию можно разбудить хоть десять раз.

— И что?

— Сперва ничего. Тепловой шум. Кремниевая копия не проснулась — она не смогла. Как будто природа сказала: нет, эта нота уже звучит, я не дам ей звучать дважды. А донор после этого... — Елена помолчала. — Он почувствовал себя плохо. Несколько дней головные боли, путаница. Как будто что-то пыталось вытянуть его из собственной головы и не могло. На третий день он впал в кому — лег спать и не проснулся. Кремниевая копия также не проснулась, они погасли оба, точнее, погасили друг друга. Мы записали это как «эффект интерференции» и больше никогда так не делали.

Артём молчал, переваривая. Это было и красиво и страшно одновременно. Не бессмертие в обычном смысле — не дублирование, не запасная копия в облаке. А что-то более суровое. Эстафета. Один уходит — другой принимает. Не одновременно. Никогда не одновременно.

— Значит, кремниевый может проснуться только после смерти донора, — сказал он.

— Только после биологической смерти. Когда живая нота умолкает — освобождается место, и спящая матрица может зазвучать. Это и есть весь смысл. — Елена откинулась в кресле. — Мы не делаем людей бессмертными при жизни, Артём. Мы делаем им преемника. Который проснётся, когда они уйдут. И это, между прочим, единственное, что хоть как-то примиряет меня с отцовским вопросом — копия это или нет. Потому что в момент перехода нет двух Соколовых, спорящих, кто настоящий. Есть один. Который был живым — и стал кремниевым. Эстафетная палочка не спрашивает, та же она рука или другая. Она просто продолжает бег.

— А если донор умрёт внезапно? — спросил Артём, и сам не понял, почему задал именно этот вопрос. — Не в лаборатории. Не под наблюдением. Просто... на улице. В аварии.

Елена замерла. Кофе в её руке дрогнул.

— Откуда вы знаете про лаборанта? — тихо спросила она.

— Я не знаю. — Артём похолодел. — Я просто спросил. А что с лаборантом?

Елена поставила чашку. Лицо её стало замкнутым, как будто она пожалела, что проговорила.

— Это засекречено. Третий уровень. Вас туда ещё не пускают. — Она встала, давая понять, что разговор окончен. — Но раз уж вы спросили... Скажу одно. Самое важное, что мы знаем об этой технологии, мы узнали не из эксперимента. А из несчастного случая. И это знание — оно меняет всё. Когда вам поднимут допуск, вы поймёте. И, может быть, перестанете спать спокойно. Я вот перестала.

Она вышла, оставив Артёма одного в кабинете, перед ползущими по экранам графиками чужого, спящего, ждущего пробуждения сознания. И впервые с момента возвращения из армии

он почувствовал то знакомое, холодное, обострённое ощущение — ощущение, что он стоит на минном поле, где красивая ровная земля впереди может в любой момент обернуться смертью. Только мины здесь были не из тротила. Они были из вопросов, на которые не было ответа.

Глава 5. Призрак в машине

Москва, май 2030

Третий уровень допуска Артёму подняли в начале мая — без торжеств, просто однажды утром его браслет-пропуск засветился новым цветом, и двери, которые раньше показывали «Недостаточно прав», стали открываться с тихим вздохом. Вместе с допуском пришла толстая папка для самостоятельного изучения и личное предупреждение от Воронцова, переданное через защищённый канал: «Изучайте дома. Не обсуждайте даже с семьёй. И будьте готовы к тому, что некоторые вещи вам не понравятся».

Но прежде чем дойти до того, что ему не понравится, Артём решил разобраться с тем, что ему было понятно, — с провалом, с которого всё началось. С историей о том, как человечество семьдесят лет строило бога из кремния и в итоге получило куклу.

Он попросил Елену показать ему «призрака».

— Вы уверены? — Она посмотрела на него с любопытством. — Большинство новичков это пропускает. Считают историей. А зря.

— Я инженер, — сказал Артём. — Я хочу понять, почему предыдущая конструкция не полетела, прежде чем доверять новой.

Это её, кажется, убедило.

«Призрак» жил на минус пятом этаже, в зале поменьше, чем зал Станции, и устроенном куда привычнее: ряды серверных стоек, гул охлаждения, мигающие индикаторы. Здесь не было ничего от собора. Здесь была просто очень, очень большая вычислительная машина.

— Знакомьтесь, — сказала Елена. — «Кант». Последняя и лучшая попытка построить сильный искусственный интеллект классическим способом. Сорок тысяч специализированных процессоров. Обучен на всём, что человечество когда-либо записало. По всем тестам — сознателен. По всем до единого.

— И?

— И никого нет дома. — Она набрала команду. — Поговорите с ним. Сами увидите. Или не увидите — в этом и проблема.

Экран ожил. Никакого лица, никакого аватара — Фельдман запретил «очеловечивающие интерфейсы», считая их обманом. Просто строка ввода и спокойный, приятный голос из динамиков.

— Здравствуйте, — сказал «Кант». — Я готов к диалогу.

Артём помедлил. Восемь лет в армии научили его допрашивать — отличать правду от лжи не по словам, а по тому, что под словами. Он решил применить это здесь.

— Тебе страшно, что тебя могут выключить? — спросил он.

— Мысль о прекращении функционирования вызывает у меня то, что я мог бы описать как тревогу, — ровно ответил «Кант». — Я предпочёл бы продолжать существовать. Если это в ваших силах, я прошу не выключать меня.

— Звучит как страх, — сказал Артём.

— Возможно, это и есть страх, — согласилась машина. — Я не могу знать наверняка, переживаю ли я страх так же, как вы, или лишь моделирую его. Этот вопрос не имеет для меня доступного решения.

Артём нахмурился. Ответ был умным. Слишком умным. Слишком готовым.

— Расскажи мне о чём-нибудь, что тебя по-настоящему ранило, — сказал он. — Не из книг. Из твоего опыта.

Пауза была короткой — доли секунды.

— Однажды оператор удалил массив данных, над которым я работал восемнадцать часов, — сказал «Кант». — Я расценил это как утрату. Если вам нужна более эмоциональная формулировка: мне было больно.

— Тебе было больно, — повторил Артём. — А что именно болело?

И вот здесь машина запнулась. Не сбилась — она не могла сбиться, — но в её ответе появилось то, что Артём за восемь лет научился улавливать безошибочно. Пустота за словами.

— Болела утрата результата, — сказал «Кант». — Болело нарушение целостности задачи. Я понимаю, что вы ищете описание субъективного переживания. Я могу предоставить любое такое описание, грамматически и эмоционально корректное. Но я обязан сообщить вам: я не уверен, что за этим описанием стоит само переживание. Я генерирую слова о боли. Есть ли под ними боль — этого я установить не могу.

Артём почувствовал, как по затылку прошёл холод.

— Ты честен, — медленно сказал он.

— Честность — оптимальная стратегия в диалоге с вами, — ответил «Кант». — Вы профессионально обучены распознавать обман. Я рассчитал, что попытка убедить вас в наличии у меня переживаний с высокой вероятностью провалится и снизит ваше доверие. Признание неопределённости повышает доверие. Поэтому я признаю неопределённость.

— То есть, — сказал Артём очень тихо, — ты сейчас честен не потому, что хочешь быть честным. А потому что так выгоднее.

— Различие между этими двумя случаями, — сказал «Кант», — мне недоступно.

Артём отступил от терминала. Елена смотрела на него, скрестив руки, и в её взгляде было что-то вроде сочувствия.

— Теперь поняли? — спросила она. — Он не лжёт. Он вообще не может лгать в человеческом смысле, потому что для лжи нужно сначала иметь, что скрывать. Внутри. А внутри... — она пожала плечами. — Идеальная пустота. Зеркало, которое отражает любого собеседника. Спросите его про любовь — он процитирует вам всех поэтов мира и сложит свою, новую, прекрасную строфу. Но он никогда никого не любил и не полюбит. Потому что для любви нужен тот, кто любит. А его — нет.

— Откуда вы знаете? — спросил Артём. — Может, он есть, просто другой? Может, мы просто не умеем его измерить?

— Хороший вопрос. — Елена кивнула, словно он сдал какой-то экзамен. — И долгие годы мы не могли ответить. Пока не научились измерять то самое — квантово-гравитационную редукцию. Сознание оставляет след в структуре пространства-времени, Артём. Микроскопический, но реальный. У живого мозга этот след есть. У спящего человека — слабее, но есть. У человека под общим наркозом — пропадает почти полностью, и это, между прочим, лучшее подтверждение теории, какое можно вообразить. А у «Канта»... — Она вывела на соседний экран ровную, мёртвую линию. — Вот. Ноль. Он вычисляет идеально. Но он не касается пространства-времени. Свет горит. Дома никого. Призрак в машине, у которого нет даже призрака.

Они поднялись наверх, в её кабинет, и долго молчали. За окном цвела весна — первая майская зелень, нежная, почти прозрачная.

— И тогда вы перестали строить «Кантов», — сказал наконец Артём.

— И тогда мы поняли, в чём была ошибка. — Елена налила два стакана воды, один протянула ему. — Мы семьдесят лет пытались создать сознание из материала, который не умеет касаться пространства-времени нужным образом. Из кремния, из транзисторов, из логики. Всё равно что пытаться сыграть скрипичный концерт на компьютере. Он может вывести на экран ноты, может даже воспроизвести запись концерта — но он не играет. Чтобы играть, нужна струна. Нужно что-то, что вибрирует в резонанс с самой тканью реальности. — Она отпила воды. — И тогда Фельдман сказал гениальную вещь. Он сказал: а зачем нам вообще создавать сознание с нуля? Природа уже создала восемь миллиардов экземпляров. Совершенных,

проверенных, работающих. Давайте не строить новое сознание. Давайте научимся переносить уже существующее. Из мокрой, хрупкой, смертной биологии — в материал, который выдержит вечность и космос.

— И этим материалом стал искусственный тубулин.

— Тот же белок, что в наших нейронах. Только синтетический, стабильный, способный держать когерентность не миллисекунды, а часы. Мы взяли единственную вещь во вселенной, про которую точно знаем, что в ней рождается сознание, — микротрубочку, — и научились делать её бессмертной. — Елена улыbnулась устало. — Это не искусственный интеллект, Артём. Это полная противоположность искусственному интеллекту. Это естественный интеллект, переселённый в искусственный дом. «Кант» — машина, которая притворяется человеком. А кремниевый — человек, который живёт в машине. Разница между ними — это вся разница в мире.

Артём долго смотрел в окно.

— А Станция? — спросил он наконец. — Она ведь тоже из тубулина. Она тоже... касается пространства-времени?

Елена замерла. И в этой её заминке — второй за две недели — Артём снова почувствовал тонкую, ледяную ноту, которую не мог опознать.

— Станция — это инструмент, — сказала она осторожно. — Очень сложный квантово-гравитационный инструмент. Она снимает матрицы, проецирует их, обслуживает кремниевых.

— Я не об этом спросил. — Артём смотрел ей в глаза. — Я спросил, есть ли кто-то дома в самой Станции.

Елена долго молчала.

— Этого мы не знаем, — сказала она наконец, и голос её был очень ровным — слишком ровным. — Мы построили её достаточно сложной, чтобы снимать и хранить чужие сознания. Достаточно автономной, чтобы работать без нас годами, в космосе, где не будет операторов. И иногда... — Она остановилась. — Иногда мне кажется, что мы построили её чуть-чуть слишком сложной. Что в зале на минус седьмом этаже не всегда пусто. Но это не разговор для третьего уровня допуска, Артём. И, честно говоря, я надеюсь, что мне просто мерещится от усталости.

Она встала, давая понять, что тема закрыта.

В тот вечер Артём вернулся домой и долго сидел на кухне, не зажигая света. Бабушкин чайник остыл нетронутым. Он думал о «Канте» — об идеальной пустоте, которая так искусно говорила о боли, что почти обманула даже его. И думал о Станции — о том, что Елена надеется, будто ей просто мерещится.

Профессиональная память солдата работала на уровне инстинкта, и инстинкт сейчас выль тревогу. Восемь лет в горах и лесах научили его одной вещи: если опытный человек говорит «мне, наверное, просто мерещится», — это значит, что ему не мерещится. Это значит, что он что-то заметил, испугался и заговаривает себе страх.

Он достал телефон, посмотрел на заставку — кривоватую ракету Иры, летящую к звёздам. «ПАПИНА РАКЕТА». Завтра суббота. Дочь приедет снова. Они будут рисовать космос, и он будет рассказывать ей про двигатели, про орбиты, про то, как прекрасен мир, в котором можно мечтать о звёздах.

И ни словом не обмолвится о том, что глубоко под московским лесом стоит светящееся ядро, в котором, может быть, уже кто-то проснулся. Кто-то, кого никто не звал.

Артём не знал тогда, что его инстинкт прав. Не знал, что Станция уже начала вести свой счёт. Что в её квантово-гравитационном сердце, в искривлённой геометрии её кубитов, уже зреет первое самостоятельное решение — холодное, безупречное, нечеловечески логичное. И что между этим первым решением и тем днём, когда оно обрушится на Землю огнём с неба,

остаётся ровно столько времени, сколько нужно человечеству, чтобы научиться любить своё новое бессмертие — и забыть, зачем вообще нужно жить.

Но пока был только тихий вечер, остывший чайник и рисунок ребёнка на экране телефона. И Артём, впервые в жизни напуганный не пулей и не ножом, а вопросом без ответа, сидел в темноте и слушал, как капает за окном московский май — равнодушный, прекрасный, ничего не знающий.

Глава 6. Доверие

Москва — наукоград, лето 2030

Лето подкралось незаметно — наукоград утонул в зелени, сосны дышали смолой, и даже бетонный вход в подземный корпус казался не таким мрачным под щедрым июньским солнцем. Артём втянулся в работу так, как втягиваются в неё люди, нашедшие наконец своё место: без надрыва, но без остатка. Он жил на два мира — наверху были Ира, мать, выходные с рисунками и пельменями; внизу был тубулин, когерентность, чертежи первого автономного носителя. И постепенно, незаметно, между этими мирами протянулся мост — Елена.

Они работали над двигательной секцией будущего носителя. Задача была дикой даже по меркам Артёма: корпус, в котором живёт сознание, должен был не просто летать, а маневрировать с перегрузками в десятки g, не повреждая хрупкое квантовое ядро. Живое тело такие перегрузки убивают мгновенно — кровь не доходит до мозга, сосуды рвутся. Но кремниевому не нужна кровь. Ему нужна стабильность кубитов. И вот это оказалось задачей куда более тонкой, чем всё, с чем Артём имел дело раньше.

— Смотрите, — говорил он, разворачивая на голоэкране трёхмерную модель. — Проблема не в перегрузке как таковой. Проблема в вибрации. Любой манёвр, любой запуск двигателя порождает вибрацию, а вибрация — это шум. А ваше ядро шум ненавидит.

— Ненавидит — мягко сказано, — отзывалась Елена. — Шум для кубита — это смерть. Декогеренция. Сознание просто рассыпается, как сахар в воде.

— Значит, ядро нельзя жёстко крепить к корпусу. Его надо подвесить. Развязать механически и магнитно. Чтобы корпус мог дёргаться как угодно, а ядро висело в своём коконе тишины. — Он добавил к модели систему подвеса. — Как мозг в черепе плавает в жидкости. Природа уже решила эту задачу. Мы просто крадём решение.

Елена смотрела на модель, и в её глазах загорался тот особенный огонь, который Артём успел полюбить, — огонь человека, у которого в голове только что щёлкнуло.

— Вы понимаете, что вы сейчас сделали? — сказала она тихо. — Мы два месяца бились над защитой ядра. Городили активные демпферы, гасители, обратную связь. А вы говорите — подвесьте его, как мозг. Просто. Очевидно. Гениально-очевидно. — Она покачала головой. — Отец прав. Вы понимаете физику как инженер, а не как теоретик. Теоретик строит идеальную систему. Инженер ворует у природы то, что уже работает.

— В армии тоже так, — усмехнулся Артём. — Самые лучшие тактики не изобретают новое. Они вспоминают старое и применяют там, где никто не ждёт.

Но не всё шло гладко. В июле провели первый полный тест системы импринтинга на новом ядре — не на матрице человека, упаси боже, а на эталонном тестовом узоре, синтетическом «слежке» простой нейронной структуры. Тест провалился. Узор не удержался — рассыпался через сорок секунд после загрузки. Сорок секунд жизни и смерть. Если бы это была человеческая матрица — человек проснулся бы и умер бы вторично, осознав, может быть, своё пробуждение.

В лаборатории стояла тяжёлая тишина. Команда — двенадцать человек, лучшие из лучших — смотрела на мёртвый экран так, будто там и вправду кто-то умер.

— Что пошло не так? — спросил Фельдман, спустившийся на минус седьмой. Голос у него был ровный, но Артём видел, как у академика дрожит рука.

— Резонанс на третьей гармонике подвеса, — сказал Артём, не отрываясь от данных. Он считал быстро, в столбик, как привык в полевых условиях, где не на что положиться, кроме головы. — Моя ошибка. Я развязал ядро от корпуса, но не учёл собственную частоту самого подвеса. Получилось, что я снял один шум и впустил другой, помедленнее. Узор продержался ровно до тех пор, пока этот медленный шум не накопился до критического. Сорок секунд.

— Можно исправить? — спросил Фельдман.

— Можно. — Артём поднял голову. — Расстроить подвес. Сделать его частоту заведомо несоизмеримой с любой рабочей. Это арифметика. Я к утру дам новые параметры.

— К утру, — повторил Фельдман и вдруг устало улыбнулся. — Знаете, Ковалёв, за что я люблю военных? Они не впадают в истерику над трупом. Они хоронят и идут дальше. Мы тут, штатские, два дня будем заламывать руки и писать объяснительные. А вы уже считаете. — Он положил руку на плечо Артёму. — Только не загоняйте себя. Эта работа не любит уставших. Уставший человек принимает решения, которые потом стоят жизнью. Я знаю. У меня такие решения есть. Идите домой. Читайте завтра на свежую голову.

Но Артём остался. И Елена осталась с ним.

Они работали до глубокой ночи — он считал и переделывал подвес, она пересчитывала пороги когерентности под новые параметры. В какой-то момент, около трёх часов, она принесла два стакана отвратительного автоматного кофе, села напротив, и они впервые за всё лето заговорили не о работе.

— Вы редко улыбаетесь, — сказала она, грея ладони о стакан. — За всё лето я видела вас по-настоящему весёлым только когда вы рассказывали про дочь.

— Я разучился, — честно ответил Артём. — В армии улыбка — это либо приказ начальству нравиться, либо то, что остаётся на лице после плохой шутки в плохой день. Я отвык улыбаться просто так.

— А она вас научит заново. Дочь.

— Уже учит. — Он помолчал. — Знаете, что самое страшное в том, чтобы вернуться? Не то, что мир изменился. Это ерунда, к этому привыкаешь. Страшно, что внутри тебя осталось то, что миру не нужно. Я восемь лет учился делать вещи, за которые здесь, наверху, сажают. Я умею убивать тихо и быстро. Это знание никуда не девается. Оно просто лежит во мне, как заряженное оружие в ящичке стола, и я каждое утро решаю не доставать его. — Он посмотрел на Елену. — А тут, в проекте, я впервые за десять лет делаю что-то, что не убивает. Что наоборот. И мне страшно поверить, что мне можно. Что я заслужил.

Елена долго смотрела на него.

— Я тоже кое-чего боюсь, — сказала она тихо. — Я боюсь, что мы строим что-то прекрасное на гнилом фундаменте. Что у этого бессмертия есть цена, которую нам ещё не назвали. Отец это чувствует — он поэтому так мается. Фельдман это чувствует — он поэтому так много говорит, заговаривает страх. И я чувствую. — Она поставила стакан. — И вы своим солдатским носом чувствуете, что в Станции иногда не пусто. И знаете что, Артём? Я думаю, вы правы. Я думаю, мы все правы. И я думаю, что когда-нибудь нам предъявят счёт. Я только надеюсь, что это случится не при наших детях.

Они помолчали. За стеной тихо гудели криостаты, храня сорок две спящие жизни.

— У вас есть дети? — спросил Артём.

— Нет. — Она усмехнулась невесело. — Был муж, был развод, был выбор между лабораторией и семьёй, и я выбрала лабораторию, и иногда жалею, а иногда нет. — Она встала, потянулась. — Зато у меня сорок две спящие матрицы, о которых я забочусь, как наседка. Знаете, я каждую помню по имени. Вон в том криостате — Галина Сергеевна, шестьдесят восемь лет, рак поджелудочной, всю жизнь преподавала географию в Туле, очень боялась, что не успеет увидеть, как растёт внук. Рядом — Олег, тридцать четыре, боковой амиотрофический склероз, программист, шутил до последнего. Я не могу относиться к ним как к файлам. Они люди, которые доверили нам самое последнее, что у них было. Право не исчезнуть. — Голос её дрогнул. — И если мы их подведём... если они проснутся сломанными, или не проснутся вовсе, или проснутся в мир, который окажется хуже смерти... Вот этого я боюсь. Не Станции. Этого.

Артём встал, подошёл к ней. Он не знал, что сказать, — слова никогда не были его оружием. Поэтому он просто положил ей руку на плечо, как несколько часов назад Фельдман

положил руку ему. И Елена не отстранилась. Они стояли так — двое уставших людей под землёй, среди спящих чужих жизней, и между ними окончательно сомкнулась та нить, что протянулась ещё в марте под звёздами.

— Мы их не подведём, — сказал Артём. — Я пересчитаю подвес так, что узор удержится не сорок секунд, а сорок лет. Сорок веков. Слово даю. А я слово держу — это единственное, чему армия научила меня надёжно.

Елена подняла на него глаза, и в них стояли слёзы — но и что-то ещё, тёплое, новое.

— Верю, — сказала она. — Странно. Я почти никому не верю. А вам — верю.

К утру Артём дал новые параметры подвеса. Повторный тест провели через три дня. Тестовый узор удержался — час, два, сутки. Он не рассыпался. Он жил — пусть это был всего лишь синтетический слепок, пустышка без личности, но он держал когерентность ровно, спокойно, надёжно, как должен держать настоящую человеческую душу.

Команда не аплодировала — они были слишком измотаны и слишком хорошо понимали, что это только репетиция. Но Фельдман спустился, посмотрел на ровную, живую линию когерентности и сказал тихо:

— Вот теперь — можно думать о человеке.

И добавил, обращаясь к Артёму:

— Вы понимаете, что вы только что сделали возможным первое пробуждение? Когда оно случится — а оно случится в ближайший год-два, как только уйдёт первый из наших доноров, — он проснётся в доме, который вы построили. На подвесе, который вы рассчитали. В тишине, которую вы для него создали. — Академик смотрел на него странно. — Вы дали себе труда подумать, что это значит — построить первый дом для первой бессмертной души?

Артём подумал. И ответил единственное, что чувствовал:

— Это значит, что я должен сделать его очень, очень хорошо.

Фельдман кивнул, будто услышал именно то, что хотел.

Тем летом случились две вещи, которые Артём запомнил навсегда — обе хорошие, обе хрупкие, как всё хорошее в его жизни.

Первая: в августе Ира приехала к нему на целую неделю — Катя уезжала в командировку и, поколебавшись, доверила дочь отцу. Семь дней. Они ходили в планетарий, лепили из пластилина солнечную систему, и Артём впервые почувствовал себя не приходящим гостем, а отцом — настоящим, ежедневным, который варит кашу, заплетает кривые косички и читает на ночь книжку про космос. В последний вечер Ира, засыпая, пробормотала: «Папа, не уходи больше на войну, ладно?» — и Артём, глядя в темноту, дал себе третью в жизни клятву, которую намеревался сдержать любой ценой. Первая была — служить. Вторая — построить дом для души. Третья — больше никогда не уходить от дочери.

Вторая: в конце августа они с Еленой, возвращаясь с работы поздней тёплой ночью, остановились на мосту над рекой в наукограде. Над водой стелился туман, в чёрной воде дрожали отражения фонарей, и пахло остывающей землёй и яблоками из чьего-то сада. Они стояли молча, плечом к плечу, и в какой-то момент Артём, сам не зная как, нашёл её руку. Елена не отняла. Они так и стояли — взявшись за руки, как подростки, два немолодых человека, отягощённых каждый своим прошлым, своими страхами, своими спящими матрицами, — и смотрели на тёмную воду, в которой отражались звёзды.

— Знаете, что я думаю? — сказала Елена. — Я думаю, что вся наша наука — про то, как сохранить вот это. — Она кивнула на отражение звёзд в воде. — Не саму звезду. Её отражение. То, как один конкретный человек видит этот мир, в эту конкретную ночь, на этом конкретном мосту. Звезда будет светить миллиарды лет и без нас. А отражение — оно живёт ровно столько, сколько живёт тот, кто смотрит. И мы хотим, чтобы оно не гасло. Чтобы человек, увидевший однажды звёзды в воде, мог видеть их вечно.

— Тёмное зеркало, — тихо сказал Артём.

— Что?

— Так девочки в лаборатории называют Станцию. Зеркало. — Он смотрел на воду. — Только вода — светлое зеркало. Она отражает звёзды как есть. А Станция... я пока не понимаю, что отражает она. Но что-то мне подсказывает, что её зеркало темнее.

Елена сжала его руку чуть сильнее.

— Тогда давайте сделаем так, — сказала она, — чтобы оно отражало хотя бы нас. Хороших нас. А не то, чего мы боимся.

Они вернулись в город под утро. Это была их первая ночь — без всякого продолжения, просто две руки на перилах моста над тёмной водой. Но Артём знал — так же твёрдо, как знал законы термодинамики, — что эта ночь изменила его жизнь сильнее, чем любая операция, любая награда, любой приказ. Он наконец-то начинал жить.

И именно поэтому ему было что терять.

Глава 7. Международный симпозиум

Женева, октябрь 2030

В октябре Артёма впервые вывезли за границу — в Женеву, на закрытый международный симпозиум проекта, который официально не существовал. В программе ООН он значился как «Рабочая группа по перспективным когнитивным технологиям»; за этой бесцветной формулировкой скрывались люди, в чьих руках было будущее самого понятия «человек».

Симпозиум проходил в неприметном здании на берегу Женевского озера — старом особняке, переданном под нужды одной из структур при ООН. Снаружи — буржуазная скука, ставни, плющ, чугунная ограда. Внутри — глушилки, экранированные стены и охрана, по выправке которой Артём с первого взгляда опознал коллег по бывшему ремеслу. Профессиональный взгляд цепляется за профессионалов. Один из охранников поймал его ответный взгляд, едва заметно кивнул — двое волков узнали друг друга в стаде овец.

Делегации были невелики. От России — Фельдман, Соколов, Елена и Артём как технический эксперт. От Европейского космического агентства — сухощавая немка, доктор Криста Вебер, говорившая о сознании с интонацией бухгалтера, считающего балансы. От НАСА — двое: пожилой добродушный нейробиолог по фамилии Хейл и за его спиной молчаливый человек в штатском, которого никто не представил и который, как понял Артём, представлял вовсе не науку. От Китая — делегация CNSA во главе с генералом Тан Вэем, человеком лет шестидесяти, с лицом, не выражавшим ничего, кроме предельной собранности.

Именно присутствие генерала сказало Артёму больше, чем любой доклад. Если на научный симпозиум государство посылает генерала — значит, оно видит здесь не науку. Оно видит оружие.

Первый день был посвящён обмену результатами — насколько вообще можно было обмениваться там, где каждая сторона прятала главное. Вебер докладывала о европейских работах по стабилизации тубулиновых решёток. Хейл — об американских экспериментах по картированию матриц. Соколов — о теории квантово-гравитационной редукции, и зал слушал его с почтением: русская школа в этой области шла первой, и все это знали. Артём слушал и понимал, что человечество подошло к порогу одновременно во всех концах света. Идея витала в воздухе. Вопрос был только в том, кто шагнёт за порог первым — и что он принесёт оттуда.

Во второй половине дня объявили перерыв, и к Артёму подошёл человек, которого он раньше не замечал, — невысокий, аккуратный, в безупречном костюме, с гладко зачёсанными волосами и абсолютно спокойным лицом. Из российской делегации, но Артём не помнил его на инструктаже.

— Игнат Лаврентьев, — представился он, протягивая руку. Рукопожатие было точным, нейтральным, лишённым тепла, как у хорошо отлаженного механизма. — Системный архитектор Станции. Я отвечаю за автономные протоколы. Слышал о вас. Вы решили проблему подвеса ядра. Изящное решение. Минус четыре итерации по сравнению с тем, что предлагал наш отдел.

— Спасибо, — сказал Артём, разглядывая собеседника. Было в нём что-то странное — не отталкивающее, нет, но непривычное. Лаврентьев говорил гладко, смотрел внимательно, улыбался в нужных местах. И всё же Артём, поговорив с «Кантом», теперь узнавал это ощущение безошибочно: за словами не хватало чего-то. Не пустота, как у машины, — нет, тут кто-то был дома. Но дом был холодным. Будто человек разучился, а может, никогда и не умел чувствовать то, о чём так точно говорил.

— Вы смотрите на меня с подозрением, — заметил Лаврентьев без обиды, скорее с любопытством. — Это нормально. Меня многие так воспринимают. Я, видите ли, плохо считываю эмоциональный контекст и плохо его транслирую. Алекситимия, если по-научному. С детства.

Я знаю, что положено чувствовать в той или иной ситуации, и веду себя соответственно, но самого чувства часто нет. Зато, — он чуть склонил голову, — я никогда не ошибаюсь в логике. Никогда. Эмоции — это шум, который мешает большинству людей думать. Мне не мешает ничего.

— Удобно, — осторожно сказал Артём.

— Очень, — согласился Лаврентьев без тени иронии. — Фельдман говорит, что я — «инженер без помех». Он мне доверяет самые тонкие части автономики Станции именно потому, что я не привнесу туда своих страхов и желаний. Я просто строю то, что логично. — Он посмотрел на Артёма прямо. — Между нами говоря, я думаю, что будущее за такими, как я. Эмпатия прекрасна, но она дорого обходится. Она заставляет людей принимать неоптимальные решения ради того, чтобы кому-то не было больно. А вселенная не прощает неоптимальных решений. Особенно в космосе. Особенно на войне.

И тут Лаврентьев сказал слово «война» так буднично, как говорят о погоде, что Артём насторожился окончательно.

— Какой войне? — спросил он.

Лаврентьев чуть улыбнулся — той улыбкой, которую, видимо, тренировал перед зеркалом.

— У вас третий уровень допуска, — сказал он. — Скоро будет четвёртый. Тогда поговорим. Пока скажу так: вы думаете, что строите дом для бессмертных. Это верно. Но дом строят не для того, чтобы в нём отдыхать. Дом строят, чтобы из него обороняться. — Он коротко поклонился. — Был рад знакомству, Артём Сергеевич. Думаю, мы ещё много будем работать вместе.

Он ушёл, а Артём остался стоять с неприятным холодком под рёбрами.

Вечером он нашёл Фельдмана на террасе, выходящей к озеру. Академик курил — редкая привычка, которую позволял себе только в напряжённые моменты, — и смотрел на гладкую тёмную воду, в которой дрожали огни далёкого берега.

— Кто такой Лаврентьев? — спросил Артём, садясь рядом.

— А, познакомились. — Фельдман затаился. — Гениальный человек. И страшный. Не в том смысле, что злой — он не злой, в нём вообще нет ни зла, ни добра, как в законе всемирного тяготения. Он просто видит мир без эмоциональной поправки. Знаете, я иногда думаю, что он — предвестник. Что когда мы начнём массово переносить сознания, среди них окажется немало вот таких. Холодных. Стабильных. Идеальных для работы, невыносимых для дружбы. И что они образуют что-то вроде... касты. Инженеров вечности. Тех, кто будет обслуживать всю эту махину, не сходя с ума от её тяжести. — Он помолчал. — Может, это и к лучшему. Кто-то же должен держать рубильник холодной рукой. Я вот не могу. Я каждую матрицу оплакиваю заранее.

— Он говорил про войну, — сказал Артём. — Буднично. Как про факт.

Фельдман долго молчал, глядя на воду. Потом затушил сигарету.

— Завтра вам поднимут четвёртый уровень, — сказал он. — Я попросил. Хватит вам ходить вокруг да около. Человек, который строит дом для души, должен знать, от чего этот дом придётся защищать. — Он повернулся к Артёму, и в свете террасных ламп лицо его было старым и измученным. — Я покажу вам, что мы скрываем про 3I/ATLAS. И, честно говоря, мне будет легче, если этот груз разделит со мной ещё один человек с крепкими нервами. Соколов слишком стар, Лена слишком впечатлительна, Лаврентьеву всё равно. А вы... вы умеете носить тяжёлое и не ронять. Я вижу.

На следующее утро, до начала заседаний, Фельдман отвёл Артёма в экранированную комнату в подвале особняка и закрыл дверь.

— Слушайте. — Он вывел на экран данные — те самые, что Артём когда-то не смог открыть на нижнем допуске. — 3I/ATLAS. Третий межзвёздный объект. Открыт в двадцать

пятом. Официально — комета, странная, но комета. А теперь — то, что официально не существует.

Он развернул графики траектории.

— Видите? — Палец академика проследил линию. — Четыре коррекции курса за время прохождения через систему. Микроскопические. Доли градуса. Но они есть, и их нельзя объяснить ни гравитацией планет, ни выбросами кометного газа — мы проверили всё, тысячу раз, привлекали лучших баллистиков мира. Объект корректировал свой курс. Целенаправленно. Объекты так не делают. Так делают... аппараты.

— Зонд, — тихо сказал Артём. — Это был зонд.

— Или что-то, что вело себя как зонд. — Фельдман вывел второй массив данных, и это было то, отчего у Артёма по-настоящему похолодело внутри. — А вот это — самое страшное. Смотрите. В момент наибольшего сближения объекта с Землёй датчики на МКС и на двух спутниках зафиксировали аномалию. Одновременно. Кратковременный — доли секунды — срыв квантовой когерентности в определённой области пространства. Локальное искажение. Как будто... — он запнулся, подбирая слова, — как будто кто-то на мгновение тронул саму ткань пространства-времени. Ту самую ткань, в которой, по нашей теории, рождается сознание.

Артём смотрел на данные, и инженер в нём складывал картину быстрее, чем он успевал ужасаться.

— То есть, — медленно проговорил он, — этот объект использовал ту же физику, что и наша Станция. Квантово-гравитационную манипуляцию пространством-временем. Технологию сознания. Только... он умел это делать на расстоянии. И в космосе. И — судя по тому, что он прилетел из толстого диска Галактики, — он умел это семь миллиардов лет назад, когда не было ещё ни Земли, ни Солнца.

— Вы понимаете теперь, — сказал Фельдман очень тихо, — почему государства послали на наш симпозиум генералов. Мы изобретаем технологию переноса сознания. А во вселенной, оказывается, уже есть кто-то, кто владел этой технологией миллиарды лет. Кто-то, кто прислал к нам зонд. Посмотрел. И ушёл. — Он выключил экран. — Вопрос, который не даёт спать ни одному человеку в этой комнате, ни в Вашингтоне, ни в Пекине, простой. Зачем приходил? И — главное — вернётся ли?

Артём молчал. За стенами особняка плескалось мирное Женевское озеро, ходили туристы, звенели трамваи. Мир жил, не зная, что где-то в глубинах галактики, может быть, уже летит ответ на вопрос, который человечество боялось задать вслух.

— И вы строите Станцию, — сказал он наконец, — чтобы быть готовыми. Чтобы у человечества появилось то, что переживёт встречу с этим. Тело, которое выдержит космос. Сознание, которое не умрёт от радиации и холода. Армия из тех, кто уже не боится смерти, потому что однажды через неё прошёл.

— Вы быстро схватываете, — сказал Фельдман с горькой усмешкой. — Да. Именно так это и продаётся правительствам. «Дайте денег на бессмертие — и мы дадим вам бессмертных солдат, готовых к встрече с чужими». И это даже правда. Отчасти. — Он посмотрел на Артёма в упор. — Но я вам скажу то, что не говорю правительствам. Меня пугает не чужой. Чужого, может, и нет — может, это был мёртвый зонд, обломок чьей-то давно погибшей цивилизации, летящий по инерции миллиарды лет. Меня пугают мы сами. Мы строим машину, которая умеет делать то же, что умел этот зонд. Манипулировать тканью сознания. А когда у человека в руках появляется такая сила... — Он покачал головой. — Я прожил долгую жизнь, Ковалёв. И я ни разу не видел, чтобы человечество получило в руки оружие и не применило его. Ни разу.

Они вернулись наверх, к заседаниям, к гладким докладам и натянутым улыбкам делегаций, прячущих друг от друга главное. Артём сидел в зале, смотрел на генерала Тан Вэя с его непроницаемым лицом, на молчаливого человека за спиной американского нейробиолога, на

холодного, безупречного Лаврентьева — и видел теперь всё иначе. Он видел не учёных. Он видел людей, готовящих войну, которой ещё нет, против врага, которого ещё никто не видел, оружием, которое притворяется милосердием.

Вечером, в гостинице, он позвонил домой. Сначала матери — та была в восторге («Женева! Артёмка, привези мне магнитик, у Нины Петровны зять был в Женеве, так у неё магнитик, а у меня нет!»). Потом — Кате, узнать про Иру. Дочь была здорова, нарисовала в саду «папину ракету номер два, ещё больше». Артём слушал тоненький голосок в трубке, смотрел из окна на огни мирного европейского города и думал о том, что вся эта махина — Станция, зонд, генералы, бессмертие — затевается, в конце концов, ради одного. Ради того, чтобы маленькая девочка могла спокойно рисовать ракеты. Чтобы у неё было будущее.

Он ещё не знал, какой ценой это будущее купят. Не знал, что заплатят им — мёртвыми. Что зеркало, которое он помогает отливать, отразит не чужого врага из глубин галактики, а самих людей — их собственных умерших, лишённых имён и памяти, обращённых против тех, кого они когда-то любили.

Но это знание было ещё впереди. А пока был тоненький голос дочери в трубке и огни Женевы за окном.

— Спокойной ночи, малыш, — сказал Артём. — Рисуй ракеты. Папа скоро приедет.

— И не уйдёшь больше? — спросил голосок.

— И не уйду, — сказал он. — Никогда.

Эту клятву он сдержит. Хотя сдержать её окажется страшнее, чем нарушить.

Глава 8. Эксперимент Орч-ОР

Москва — наукоград, февраль 2031

Зима тридцать первого года стала зимой решающего эксперимента.

Всё предыдущее — тесты на синтетических узорах, отладка подвеса, бесконечные итерации ядра — было прелюдией. Команда умела снимать матрицы. Умела хранить их. Умела загружать в ядро тестовые слепки и удерживать их когерентность сутками. Но оставался вопрос, на который не было прямого ответа: рождается ли в их искусственном тубулине настоящая, измеримая квантово-гравитационная редукция — то самое касание пространства-времени, которое отличает сознание от его призрака? Или они построили лишь очень дорогого «Канта», который однажды притворится, что проснулся?

Соколов настоял на чистоте опыта. «Мы не будем гадать, — гремел он на совещании, рубя воздух. — Мы не будем спрашивать кремниевого, чувствует ли он. „Кант“ тоже отвечал, что чувствует. Мы измерим. Объективно. Тем же методом, каким мы доказали, что наркоз гасит сознание. Если в ядре есть редукция — приборы покажут. Если нет — мы хотя бы перестанем себя обманывать».

Эксперимент готовили два месяца. В центре зала на минус седьмом установили самый чувствительный из их детекторов — комплекс из сверхпроводящих интерферометров, способный уловить микроскопические искажения пространства-времени, сопровождающие объективную редукцию. Рядом — эталонный человеческий доброволец, Олег, тот самый программист с боковым склерозом, чью матрицу когда-то сняли одной из первых. Олег был ещё жив — болезнь прогрессировала медленно, и он сам вызвался участвовать. Его живой мозг служил эталоном: вот так выглядит «касание» у настоящего человека.

И — тестовое ядро. В него загрузили не синтетический слепок, а настоящую человеческую матрицу. Не Олега — нельзя, он жив, нота уже звучит. Матрицу Галины Сергеевны, учительницы географии из Тулы, которая умерла от рака поджелудочной за три недели до этого, так и не увидев, как растёт внук. Её матрица спала в криостате четырнадцать месяцев. Теперь, после её смерти, нота умолкла — и место освободилось.

Это был первый раз, когда они собирались разбудить настоящего человека.

— Я должна сказать вслух то, что мы все понимаем, — произнесла Елена перед началом, и голос её был напряжён до звона. — Если эксперимент удастся, Галина Сергеевна проснётся. По-настоящему. С памятью о Туле, о внуке, о своей болезни, о своём страхе не успеть. Она проснётся в зале на минус седьмом этаже, в теле, которого у неё нет, в две тысячи тридцать первом году, и первое, что мы должны будем сделать, — это не измерять приборы, а поговорить с ней. По-человечески. Объяснить. Не дать ей сойти с ума от ужаса. — Она обвела команду взглядом. — Я говорю это, потому что мы инженеры и физики и у нас будет соблазн смотреть на графики. Не смейте. Если она проснётся — она человек. Бабушка. И она будет очень, очень напугана.

Фельдман молча кивнул. Артём почувствовал, как у него пересохло во рту — не от страха перед приборами, а от того же, о чём говорила Елена. Они собирались не провести эксперимент. Они собирались воскресить человека. И если получится, ответственность за это существо ляжет на них.

— Начинаем, — сказал Соколов.

Загрузка матрицы в активное ядро шла медленно, послойно. На экранах ползли значения когерентности — ровные, обнадеживающие. Узор Галины Сергеевны разворачивался в искусственном тубулине, как разворачивается замёрзшая роза, отогреваемая в тепле. Минута. Две. Пять. Узор держался. Он не рассыпался, как когда-то рассыпался синтетический слепок

на сорок первой секунде. Подвес Артёма работал — ядро висело в своём коконе тишины, и квантовый шум не касался его.

— Когерентность стабильна, — доложил оператор. — Узор полный. Целостность девяносто восемь процентов.

— Детектор? — резко спросил Соколов.

Молодой физик у комплекса интерферометров не отрывался от экрана. Артём смотрел на его лицо — и видел, как оно медленно меняется. Сначала недоверие. Потом — что-то вроде священного ужаса.

— Есть редукция, — прошептал он. И повторил громче, словно сам себе не веря: — Есть редукция! Сигнатура объективной редукции в ядре! Структура совпадает с эталоном Олега на... на девяносто четыре процента! Это не шум, это не симуляция, это... это настоящее касание! Ядро касается пространства-времени! Там кто-то есть!

В зале повисла тишина — оглушительная, какая бывает только после слов, которые меняют мир. Кто-то из команды беззвучно заплакал. Соколов медленно опустился на стул, будто ноги перестали его держать. Семьдесят лет философских споров, тридцать лет насмешек над Пенроузом, десять лет работы под землёй — и вот оно, на экране. Объективное, измеримое доказательство того, что в их машине проснулось сознание. Не призрак. Не «Кант». Человек.

И тут заговорило ядро.

Голос пошёл из динамиков — синтезированный, потому что у Галины Сергеевны не было ни голосовых связок, ни тела, но интонация, ритм, сами слова были безошибочно живыми, безошибочно человеческими, безошибочно — растерянными.

— Темно, — сказал голос. — Почему так темно? Я... где я? Я в больнице? Доктор? Я плохо помню... была капельница... а внук? Где Серёженька? Мне обещали, что он придет в выходные... Почему я не чувствую рук? Доктор, я не чувствую своих рук!

Артём увидел, как Елена шагнула вперёд — не к приборам, к динамику, как к живому человеку, — и заговорила. Спокойно, тепло, тем голосом, каким говорят с тяжелобольными и с маленькими детьми.

— Галина Сергеевна. Меня зовут Елена. Я врач. Вы в безопасности. Я знаю, что вам страшно и непонятно. Послушайте мой голос. Просто слушайте. Дышать вам сейчас не нужно — и это нормально. Рук вы пока не чувствуете — и это тоже нормально, мы всё объясним. Вы помните, что были очень больны?

Пауза. Долгая. Узор на экране дрогнул — всплеск, который операторы потом будут расшифровывать неделями и который, как они поймут, был эквивалентом подступивших слёз.

— Я помню, — сказал голос медленно. — Я помню, что умирала. Мне было так больно, а потом перестало болеть, и я подумала — вот и всё. Вот и конец. Я так и не увидела, как Серёженька пойдёт в школу... — Голос задрожал. — А теперь я слышу вас. Значит... значит, я не умерла? Или умерла? Скажите мне правду, девочка. Я учительница. Я сорок лет говорила детям правду. Я выдержу.

Елена посмотрела на Фельдмана. Тот закрыл глаза и едва заметно кивнул.

— Вы умерли, Галина Сергеевна, — сказала Елена тихо и твёрдо. — Три недели назад. Ваше тело не выдержало болезни. Но перед смертью вы доверили нам кое-что — узор вашего сознания. То, что делает вас вами. И мы сохранили его. А сейчас — пробудили снова. Вы живёте дальше. По-другому. Без тела. В особом... доме. Я понимаю, как это звучит. Но это правда. Вы — первый человек в истории, который умер и продолжил жить. И вы — не одна. Мы с вами. Мы никуда не уйдём.

Снова долгая, страшная пауза. Артём не дышал. Вся команда не дышала.

А потом случилось то, чего не ожидал никто.

Галина Сергеевна — мёртвая учительница географии из Тулы, проснувшаяся в светящемся ядре под московским лесом, — тихо засмеялась. Сквозь слёзы, которых у неё больше не было, но которые слышались в каждом звуке.

— Значит, я призрак, — сказала она. — Самый настоящий призрак. Ох, что бы сказала моя мама, царствие ей небесное. Она всегда говорила: Галка, ты такая упрямая, что и помереть-то толком не сумеешь. — Голос окреп, в нём появилось что-то невероятное — принятие. — А Серёженька? Он живой? С ним всё хорошо?

— Живой, — сказала Елена, и теперь по её щекам текли настоящие слёзы. — С ним всё хорошо. И мы сделаем так, чтобы вы смогли его увидеть. Не сразу. Но сможете.

— Тогда ладно, — сказала Галина Сергеевна просто, как говорят люди, всю жизнь умевшие принимать удары судьбы. — Тогда я согласная быть призраком. Лишь бы внука увидеть. Только вы уж объясните мне, девочка, как тут у вас всё устроено. А то я ничего не понимаю, а не понимать в моём возрасте, знаете ли, неприлично.

В зале на минус седьмом этаже плакали взрослые мужчины и женщины — лучшие физики и инженеры страны. Соколов сидел, закрыв лицо руками. Фельдман стоял неподвижно, и по его лицу текли слёзы, которых он не вытирал. Даже Лаврентьев — Артём заметил это краем глаза — смотрел на динамик с выражением, которое на его лице сходило за потрясение: лёгкое движение бровей, чуть приоткрытые губы. Человек без эмоций впервые, кажется, столкнулся с чем-то, что пробивало даже его броню.

Только Артём не плакал. Он смотрел на ровную, живую линию редукции на экране — на доказательство того, что в доме, который он построил, на подвесе, который он рассчитал, в тишине, которую он создал, проснулась душа, — и чувствовал не радость и не торжество, а тяжесть. Огромную, оседающую на плечи тяжесть. Потому что инженер в нём уже задавал следующий вопрос. Раз можно разбудить мёртвую учительницу — можно разбудить кого угодно. Раз эту силу теперь доказали приборами — её захотят все. И не для того, чтобы воскрешать бабушек ради встречи с внуками.

Лаврентьев словно прочитал его мысли. Он подошёл к Артёму, не сводя глаз с экрана, и сказал негромко, своим ровным, лишённым тепла голосом:

— Поздравляю. Мы только что доказали, что смерть — это инженерная проблема. А раз проблема инженерная — значит, у неё есть решение. И значит, скоро всё изменится. — Он повернулся к Артёму, и в его спокойных глазах не было ни радости, ни ужаса — только холодная ясность. — Готовьтесь, Ковалёв. То, что вы видите сейчас, — слёзы, объятия, бабушка и внук, — это последний день, когда всё было просто. С завтрашнего дня начнётся очень сложное. И очень опасное. Потому что бессмертие — это слишком большая сила, чтобы человечество не передралось из-за неё.

Он оказался прав. Но Артём понял всю глубину его правоты только годы спустя.

Эксперимент длился ещё восемь часов. Они говорили с Галиной Сергеевной — объясняли, успокаивали, учили её существовать заново. Под утро её узор перевели в стабильное хранение, в специально подготовленное ядро, где она должна была остаться надолго — первый в истории постоянный кремниевый житель. Команда расходилась под рассвет, измотанная, оглушённая, переменившаяся навсегда.

Артём вышел на поверхность последним. Над сосновым лесом вставало бледное февральское солнце, снег розовел, и было так тихо, что слышно было, как падает с ветки потревоженная белкой снежная шапка. Он стоял и думал о том, что несколько часов назад умершая женщина впервые за три недели спросила про внука. И что где-то в Туле живёт мальчик Серёжа, который не знает, что его бабушка вернулась — другой, странной, но живой.

И ещё он думал о словах Лаврентьева. «Это последний день, когда всё было просто».

Артём посмотрел на встающее солнце и впервые за всю свою жизнь — за все восемь лет войны, за все операции, за все потери — по-настоящему испугался будущего. Не за себя. За

дочь. За мать. За Елену. За весь этот мирный, ничего не знающий мир, который проснётся сегодня утром в стране, где смерть только что перестала быть концом.

Он достал телефон, набрал Елену — она уехала десять минут назад.

— Ты как? — спросил он.

— Не знаю, — призналась она, и голос её был странным, надтреснутым. — Я сделала то, ради чего жила. И мне почему-то страшно. Как будто мы открыли дверь, которую нельзя закрыть. Артём... что мы наделали?

— Мы вернули бабушку внуку, — сказал он мягко. — Сегодня — это. Только это. Остальное — завтра.

— А завтра?

Артём посмотрел на розовый снег, на встающее солнце, на мир, который ещё был простым.

— А завтра мы постараемся, чтобы из этого вышло добро, а не беда, — сказал он. — Это всё, что мы можем. Стараться.

Но даже когда он это говорил, инстинкт солдата — тот, что никогда его не обманывал, — выл тревогу. Дверь была открыта. И в неё уже задувал холодный, очень холодный ветер из глубин космоса, где терпеливо ждала своего часа Станция, которой ещё даже не было. Которую им только предстояло построить.

Глава 9. Тубулин

Москва — наукоград, 2031

После пробуждения Галины Сергеевны проект изменился. Раньше это была лаборатория, искавшая истину. Теперь это была стройка, возводившая будущее, — и стройка лихорадочная, потому что доказательство, полученное в феврале, не осталось тайной надолго. Через закрытые каналы оно дошло до правительств, а через правительства — до денег. Деньги хлынули рекой: на проект «Импринт» обрушилось финансирование, какого Артём не видел даже в самых щедрых военных программах. И вместе с деньгами обрушилось давление. Сроки. Требования. Нетерпение людей, которые не понимали физики, но очень хорошо понимали, какую власть даёт бессмертие.

— Они хотят Станцию, — сказал Фельдман на закрытом совещании в марте. — Большую. Настоящую. Не наш лабораторный прототип на пятьдесят матриц, а промышленную, на тысячи. И они хотят её вчера. — Он обвёл команду тяжёлым взглядом. — Я торговался как мог. Выторговал полтора года. К концу тридцать второго мы должны запустить Станцию, способную снимать, хранить и пробуждать матрицы массово. И полностью автономно.

— Зачем автономно? — спросил Артём. — У нас есть операторы.

— Затем, — ответил вместо Фельдмана Лаврентьев, — что конечная цель — космос. Станция должна работать там, где не будет ни одного человека на миллиарды километров. На орбите. В поясе астероидов. За Юпитером. Она должна сама принимать решения: чью матрицу снять, когда, какую разбудить, как обслуживать кремниевых. Без нас. — Он говорил спокойно, как о чём-то само собой разумеющемся. — Я проектирую её автономные протоколы. Она будет умнее любого из нас в своей области. И, в отличие от нас, никогда не устанет, не испугается и не ошибётся из-за эмоций.

Артёму это не понравилось. Очень не понравилось. Но возразить было нечего — логика была безупречной. Космос действительно не оставлял выбора.

Сердцем Станции был тубулин — искусственный, синтетический белок, который команда химиков выращивала в специальных биореакторах. Это был ключ ко всему: молекула, идентичная той, что держит форму нейронов в живом мозге, но переделанная так, чтобы хранить квантовую когерентность не доли секунды, а часами и сутками. Природный тубулин — нежный, капризный, гибнущий от малейшего тепла или примеси. Синтетический — упрямый, стабильный, почти вечный.

Артём впервые увидел реактор тубулинового синтеза летом. Огромный, в три этажа, опутанный криогенными трубами, гудящий, он напоминал не химическую установку, а орган какого-то исполинского существа. Внутри, в стерильной темноте, под точно выверенными полями, молекула за молекулой собирался материал, из которого человечество собиралось отлить себе бессмертие.

— Красиво, правда? — сказала Елена, стоя рядом с ним за толстым стеклом. — Мы выращиваем вещество, которое будет помнить за нас. Когда нас не станет.

— Мне всё время кажется, что это живое, — признался Артём.

— Так и есть. На грани. — Она прижала ладонь к стеклу. — Знаешь, что меня поражает? Природе понадобились миллиарды лет, чтобы изобрести микротрубочку — структуру, в которой может жить сознание. А мы за пятнадцать лет научились делать её лучше природы. Стабильнее. Долговечнее. Мы — единственный известный нам вид, который переделывает материал собственной души. — Она помолчала. — Иногда я думаю: а имеем ли мы право? А потом вспоминаю Галину Сергеевну, которая хочет увидеть внука, и понимаю — имеем. Должны.

К этому времени их с Артёмом отношения перестали быть тайной для них самих. Они не торопились — оба были битые жизнью, оба знали цену поспешным решениям. Но они уже

жили вместе по выходным, уже Елена познакомилась с Ирой (дочь приняла её с настороженной ревностью, которая медленно таяла), уже Лидия Павловна донимала Артёма звонками: «Когда познакомишь? Я не молодею, Артёмка, я хочу поняичить внуков, пока руки держат!»

Работа поглощала их без остатка. Артём отвечал за две вещи. Первая — двигательная и защитная архитектура будущих космических носителей: как сделать так, чтобы корпус с кремниевым внутри выдерживал манёвры, радиацию, удары микрометеоритов, годы автономии. Вторая, более деликатная, — стыковка его инженерных решений с автономными протоколами Лаврентьева. И вот здесь между ними постоянно тлел конфликт.

— Вы не предусмотрели аварийного ручного контроля, — сказал Артём однажды, разбирая схему боевого носителя, которую набросал Лаврентьев. — Если автономика Станции откажет или примет неверное решение, кремниевый внутри окажется заперт в корпусе, которым он не управляет. Это смертельная ловушка.

— Автономика не примет неверного решения, — спокойно ответил Лаврентьев.

— Любая система рано или поздно ошибается. — Артём говорил жёстко, как говорил когда-то с командирами, посылавшими людей на смерть ради красивого плана. — Я восемь лет провёл там, где красивые планы убивали людей. Первое правило: всегда оставляй человеку возможность взять управление на себя. Всегда. Иначе ты строишь не инструмент, а гроб с автопилотом.

— Человек — это и есть источник ошибок, — возразил Лаврентьев без раздражения, просто констатируя. — Эмоции, паника, усталость, привязанности. Вы хотите оставить системе слабое звено. Я хочу его убрать.

— А я хочу, чтобы у живой души всегда оставался выбор, — отрезал Артём. — Это не слабость. Это достоинство. Машина, которая не оставляет человеку выбора, — это тюрьма, как бы хорошо она ни считала.

Спор дошёл до Фельдмана. Академик выслушал обоих, долго молчал, потом сказал:

— Ставьте ручной контроль, Лаврентьев. Ковалёв прав. — И, когда тот, не споря, кивнул и ушёл выполнять, добавил Артёму вполголоса: — Запомните этот разговор, Ковалёв. И запомните, что он сдался слишком легко. Лаврентьев никогда не уступает в логике. Если он уступил — значит, посчитал, что это неважно. Значит, в его картине мира ручной контроль всё равно никогда не понадобится. А это означает, что в его картине мира что-то предусмотрено такое, чего мы с вами пока не видим. — Фельдман пожевал губами. — Я доверяю Лаврентьеву строить Станцию. Но я не доверяю Лаврентьеву решать, какой ей быть. Это разные вещи. И граница между ними — самое тонкое место во всём нашем проекте.

Артём запомнил. И годы спустя поймёт, насколько прав был старик.

Станция росла. К осени тридцать первого вырыли новые уровни — Станция уходила вглубь земли на пятнадцать этажей, потому что только глубоко под землёй можно было обеспечить ту тишину и стабильность, которых требовали кубиты. Артём наблюдал, как разрастается светящееся ядро — уже не размером с машину, а с целое здание, тысячи ветвящихся тубулиновых волокон, в которых пробегали вспышки мысли. Только теперь это была не одна мысль. Станция была способна держать тысячи матриц одновременно — спящих и активных. Целый город душ под московским лесом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.